



Евгения Гинзбург

Крутой маршрут

Хроники времен культа личности

ФТМ



Воспоминания узников эпохи

Евгения Гинзбург

Крутой маршрут

«ФТМ»

1977

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Гинзбург Е.

Крутой маршрут / Е. Гинзбург — «ФТМ»,
1977 — (Воспоминания узников эпохи)

ISBN 978-5-4467-3065-0

Драматическое повествование о восемнадцати годах тюрем, лагерей и ссылок потрясает своей беспощадной правдивостью, вызывает глубочайшее уважение к силе человеческого духа, который не сломили эти страшные испытания. Роман-автобиография журналистки Евгении Гинзбург (1904–1977) «Крутой маршрут» – документ эпохи, честно и беспощадно рассказывающий о сталинских репрессиях, и о том, что помогало выжить в мире унижений, пыток, холода, голода и смерти.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-4467-3065-0

© Гинзбург Е., 1977
© ФТМ, 1977

Содержание

Часть I	6
Глава первая	6
Глава вторая	7
Глава третья	9
Глава четвертая	11
Глава пятая	15
Глава шестая	18
Глава седьмая	21
Глава восьмая	23
Глава девятая	25
Глава десятая	27
Глава одиннадцатая	30
Глава двенадцатая	32
Глава тринадцатая	36
Глава четырнадцатая	38
Глава пятнадцатая	41
Глава шестнадцатая	44
Глава семнадцатая	47
Глава восемнадцатая	50
Глава девятнадцатая	55
Глава двадцатая	57
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Евгения Гинзбург

Крутой маршрут¹

Хроника времен культа личности

*И я обращаюсь
к правительству нашему
с просьбой:
удвоить,
утроить
у этой плиты караул.*

Евтушенко

Все это кончилось. Мне и тысячам таких, как я, выпало счастье дожить до двадцатого и двадцать второго съездов партии.

В 1937-м, когда все это случилось со мной, мне было немного за тридцать. Сейчас – больше пятидесяти. Между этими двумя датами пролегло восемнадцать лет, проведенных ТАМ.

Много разных чувств терзало меня за эти годы. Но основным, ведущим было чувство изумления.

Неужели такое мыслимо? Неужели это все всерьез?

Пожалуй, именно это изумление и помогло выйти живой. Я оказалась не только жертвой, но и наблюдателем.

Что же будет дальше? Неужели ТАКОЕ возможно ПРОСТО ТАК? Без справедливого возмездия?

Жгучий интерес к тем новым сторонам жизни, человеческой природы, которые открылись передо мной, нередко помогали отвлекаться от собственных страданий.

Я старалась все запомнить в надежде рассказать об этом тем хорошим людям, тем настоящим коммунистам, которые будут же, обязательно будут когда-нибудь меня слушать.

Я писала эти записки как письмо к внуку. Мне казалось, что только примерно к восьмидесятому году, когда моему внуку будет двадцать лет, все это станет настолько старым, чтобы дойти до людей.

Как хорошо, что я ошиблась! В нашей партии, в нашей стране снова царит великая ленинская правда. Уже сегодня можно рассказать людям о том, что было, чего больше никогда не будет.

И вот они – воспоминания рядовой коммунистки. Хроника времен культа личности.

Часть I

Глава первая Телефонный звонок на рассвете

Тридцать седьмой год начался, по сути дела, с конца 1934-го. Точнее, с первого декабря 1934-го.

В четыре часа утра раздался пронзительный телефонный звонок. Мой муж – Павел Васильевич Аксенов, член бюро Татарского обкома партии, был в командировке. Из детской доносилось ровное дыхание спящих детей.

– Прибыть к шести утра в обком. Комната 38. Это приказывали мне, члену партии.
– Война?

Но трубку повесили. Впрочем, и так было ясно, что случилось недоброе.

Не разбудив никого, я выбежала из дому еще задолго до начала движения городского транспорта. Хорошо запомнились бесшумные мягкие хлопья снега и странная легкость ходьбы.

Я не хочу употреблять возвышенных оборотов, но чтобы не погрешить против истины, должна сказать, что если бы мне приказали в ту ночь, на этом заснеженном зимнем рассвете, умереть за партию не один раз, а трижды, я сделала бы это без малейших колебаний. Ни тени сомнения в правильности партийной линии у меня не было. Только Сталина (инстинктивно, что ли!) не могла боготворить, как это уже входило в моду. Впрочем, это чувство настороженности в отношении к нему я тщательно скрывала от себя самой.

В коридорах обкома толпилось уже человек сорок научных работников-коммунистов. Все знакомые люди, товарищи по работе. Потревоженные среди ночи, все казались бледными, молчаливыми. Ждали секретаря обкома Лепу.

– Что случилось?
– Как? Не знаете? Убит Киров...

Лепа, немного флегматичный латыш, всегда бесстрастный и непроницаемый, член партии с 1913 года, был сам не свой. Его сообщение заняло только пять минут. Ровно ничего он не знал об обстоятельствах убийства. Повторил только то, что было сказано в официальном сообщении. Нас вызвали всего только за тем, чтобы разослать по предприятиям. Мы должны были выступить с краткими сообщениями на собраниях рабочих.

Мне досталась ткацкая фабрика в Заречье, заводском районе Казани. Стоя на мешках с хлопком, прямо в цеху, я добросовестно повторяла слова Лепы, а мысли в тревожной сумятице рвались далеко.

Вернувшись в город, я зашла выпить чаю в обкомовскую столовую. Рядом со мной оказался Евстафьев, директор Института марксизма. Это был простой, хороший человек, старый ростовский пролетарий, член партии с дооктябрьским стажем. Мы дружили с ним, несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в возрасте, при встречах всегда с интересом беседовали. Сейчас он молча пил чай, не оглядываясь в мою сторону. Потом осмотрелся кругом, наклонился к моему уху и каким-то странным, не своим голосом, от которого у меня все оборвалось внутри предчувствием страшной беды, сказал:

– А ведь убийца-то – коммунист...

Глава вторая Рыжий профессор

Длинные газетные полосы с обвинительными заключениями по делу об убийстве Кирова бросали в дрожь, но еще не вызывали сомнений. Бывшие ленинградские комсомольцы? Николаев? Румянцев? Каталынов? Это было фантастично, невероятно, но об этом было напечатано в «Правде» – значит, сомнений быть не могло.

Но вот процесс начал расширяться концентрическими кругами, как на водной глади, в которую упал камень.

В солнечный февральский день 1935 года ко мне зашел профессор Эльвов. Это был человек, появившийся в казанских вузах после известной истории с четырехтомной «Историей ВКП(б)» под редакцией Емельяна Ярославского. В статье о 1905 году, написанной Эльвовым для этой книги, были обнаружены теоретические ошибки по вопросу о теории перманентной революции. Вся книга, в частности статья Эльвова, была осуждена Сталиным в его известном письме в редакцию журнала «Пролетарская революция». После этого письма ошибки получили более четкую квалификацию: «троцкистская контрабанда».

Но в те времена, до выстрела в Кирова, все эти вопросы стояли не очень остро. И Эльвов, приехав в Казань по путевке ЦК партии, стал профессором Педагогического института, был избран членом горкома партии, выступал с докладами на общегородских собраниях интеллигенции, на партактивах. Даже доклад на городском активе, посвященном убийству Кирова, делал Эльвов.

Это был человек, бросавшийся в глаза. Красно-рыжая курчавая шевелюра, очень крупная голова, посаженная прямо на плечи. Шеи у Николая Эльвова почти не было, и поэтому его высокая коренастая фигура производила одновременно впечатление и силы, и какой-то физической беспомощности. Где бы он ни появлялся, на него оглядывались. Не мог он остаться незамеченным и по своим душевным проявлениям. Его доклады, блестящие и иногда претенциозные, его выступления, безапелляционные и едкие, каскады эрудиции, которые он обрушивал на головы скромных казанских преподавателей, – все это делало его одиозной фигурой в городе. Было ему в 1935 году 33 года.

...И вот он сидит передо мной в этот морозный солнечный февральский день 1935 года. Сидит не в кресле у письменного стола, а на стуле, в углу. Не раскинув длинные ноги в элегантных ботинках, а поджав их под стул. И лицо у него не розово-белое, как у всех рыжих, как бывало у него всегда, а темно-серое. И на руках он держит моего двухлетнего Ваську, забежавшего в комнату. И говорит синими трясущимися губами:

– У меня ведь тоже есть... Сережка... Четыре года. Хороший парень...

Потом я много видела таких глаз, какие были в тот день у рыжего профессора. Я не знаю, какими словами определить эти глаза. В них мука, тревога, усталость загнанного зверя и где-то, на самом дне, полубезумный проблеск надежды. Наверно, у меня самой были потом такие же. Но у себя самой я их почти не видела по той простой причине, что мне не приходилось долгими годами видеть свое отражение в зеркале.

– Что с вами, Николай Наумыч?

– Все. Все кончено. Я только на минуту. Только хотел сказать вам, чтобы вы не думали... Ведь это все неправда. Клянусь – я ничего не сделал против партии.

Стыдно вспомнить, как я начала его «утешать» плоскими обывательскими фразами. Дескать, он все преувеличивает... Ну, может быть, по остроте положения выговор задним числом объявят за ту ошибочную статью... и т. д...

Потом он сказал совсем странные слова:

– Мне очень больно, что и вы можете пострадать за связь со мной... Я не хотел этого...

Тут я посмотрела на него с явным опасением. Не сошел ли с ума? Я могу пострадать за связь с ним? Какая связь? Что за чушь?

Меня судьба столкнула с ним с самого его приезда в Казань, кажется с осени 1932 года. Я работала тогда в пединституте. Он появился как зав. кафедрой русской истории. Квартиру ему дали в здании института. Он сразу задумал несколько изданий и стал для этого собирать на своей квартире научных работников. Помню, что меня туда пригласили для участия в подготовке хрестоматии по истории Татарии.

Еще раз мне пришлось работать вместе с Эльвовым в редакции областной газеты «Красная Татария». После крупного конфликта между новым редактором Красным и прежними сотрудниками этой газеты обком решил освежить аппарат редакции и направил туда «на укрепление» несколько человек из числа научных работников. Меня назначили зав. отделом культуры, Эльвова – зав. отделом международной информации.

– С каких это пор совместная работа в советском вузе и в партийной прессе стала называться «связью», да еще такой, от которой можно «пострадать»?

Видно, в этот страшный момент своей жизни, отбросив свойственное ему позерство и самолюбование, он обрел дар понимания людей. Потому что он правильно увидел за моими словами не трусость, не лицемерие, а беспробудную политическую наивность. Да, я была членом партии, историком и литератором, имела уже ученое звание, но я была политическим младенцем. Он уловил это.

– Вы не понимаете момента. Вам трудно будет. Еще труднее, чем мне. Прощайте.

В прихожей он долго не мог попасть в рукава своего кожаного пальто. Мой старший сын Алеша, тогда девятилетний, встал в дверях, внимательно и серьезно глядя на «рыжего». Потом помог ему надеть пальто. А когда дверь за Эльвовым захлопнулась, Алеша сказал:

– Мамочка, это вообще-то не очень симпатичный человек. Но сейчас у него большое горе. И его сейчас жалко, правда?

На другое утро у меня была лекция в пединституте. Старый швейцар, знавший меня со студенческих лет, бросился ко мне, едва я показалась в вестибюле:

– Профессора-то нашего... рыжего-то... Увели сегодня ночью... Арестовали...

Глава третья

Прелюдия

Последовавшие затем два года можно назвать прелюдией к той симфонии безумия и ужаса, которая началась для меня в феврале 1937 года.

Через несколько дней после ареста Эльвова в редакции «Красной Татарии» состоялось партийное собрание, на котором мне впервые были предъявлены обвинения в том, чего я НЕ делала.

Оказывается, я НЕ разоблачила троцкистского контрабандиста Эльвова. Я НЕ выступила с уничтожающей рецензией на сборник материалов по истории Татарии, вышедший под его редакцией, а даже приняла в нем участие. (Моя статья, относившаяся к началу XIX века, при этом совершенно не критиковалась.) Я ни разу НЕ выступала против него на собраниях.

Попытки апеллировать к здравому смыслу были решительно отбиты.

– Но ведь не я одна, а никто в нашей областной парторганизации не выступал против него...

– Не беспокойтесь, каждый ответит за себя. А сейчас речь идет о вас!

– Но ведь ему доверял обком партии. Коммунисты выбрали его членом горкома.

– Вы должны были сигнализировать, что это неправильно. Для этого вам и дано высшее образование и ученое звание.

– А разве уже доказано, что он троцкист? Последний наивный вопрос вызвал взрыв священного негодования.

– Но ведь он арестован! Неужели вы думаете, что кого-нибудь арестовывают, если нет точных данных?

На всю жизнь я запомнила все детали этого собрания, замечательного для меня тем, что на нем я впервые столкнулась с тем нарушением логики и здравого смысла, которому я не уставала удивляться в течение всех последующих 20 с лишним лет, до самого XX съезда партии, или, по крайней мере, до сентябрьского Пленума 1953 года.

...В перерыве партийного собрания я зашла в свой редакционный кабинет. Хотелось побыть одной, обдумать дальнейшее поведение. Как держаться, чтобы не уронить своего партийного и человеческого достоинства? Щеки мои пылали. Минутами казалось, что схожу с ума от боли незаслуженных обвинений.

Скрипнула дверь. Вошла редакционная стенографистка Александра Александровна. Я часто диктовала ей. Жили с ней дружно. Пожилая, замкнутая, пережившая какую-то личную неудачу, она была привязана ко мне.

– Вы неправильно ведете себя, Е.С. Признавайте себя виновной. Кайтесь.

– Но я ни в чем не виновата. Зачем же лгать партийному собранию?

– Все равно вам сейчас вынесут выговор. Политический выговор. Это очень плохо. А вы еще не каетесь. Лишнее осложнение.

– Не буду я лицемерить. Объявят выговор – буду бороться за его отмену.

Она взглянула на меня добрыми, оплетенными сетью морщинок глазами и сказала те самые слова, которые говорил мне при последней встрече Эльвов.

– Вы не понимаете происходящих событий. Вам будет очень трудно.

Наверно, сейчас, попав в такое положение, я «покаялась» бы. Скорее всего. Ведь «я и сам теперь не тот, что прежде: неподкупный, гордый, чистый, злой». А тогда я была именно такая: неподкупная, гордая, чистая, злая. Никакие силы не могли меня заставить принять участие в начавшейся кампании «раскаяний» и «признаний ошибок».

Большие многолюдные залы и аудитории превратились в исповедальни. Несмотря на то что отпущения грехов давались очень туго (наоборот, чаще всего покаянные выступления при-

знавались «недостаточными»), все же поток «раскаяний» ширился с каждым днем. На любом собрании было свое дежурное блюдо. Каялись в неправильном понимании теории перманентной революции и в воздержании при голосовании оппозиционной платформы в 1923 году. В «отрыжке» великодержавного шовинизма и в недооценке второго пятилетнего плана. В знакомстве с какими-то грешниками и в увлечении театром Мейерхольтда.

Бия себя кулаками в грудь, «виновные» вопили о том, что они «проявили политическую близорукость», «потеряли бдительность», «пошли на примиренчество с сомнительными элементами», «лили воду на мельницу», «проявляли гнилой либерализм».

И еще много-много таких формул звучало под сводами общественных помещений. Печать тоже наводнилась раскаянными статьями. Самый неприкрытый заячий страх водил перьями многих «теоретиков». С каждым днем возрастала роль и значение органов НКВД.

Редакционное партсоборание вынесло мне выговор «за притупление политической бдительности». Особенно настаивал на этом редактор Коган, сменивший в это время Красного. Он произнес против меня настоящую прокурорскую речь, в которой я фигурировала как «потенциальная единомышленница Эльвова».

Через некоторое время обнаружилось, что сам Коган имел оппозиционное прошлое, а его жена была личным секретарем Смилги и принимала участие в известных «проводах Смилги» в Москве при отъезде Смилги в ссылку. Чтобы отвлечь внимание от себя, Коган проявлял страшное рвение в «разоблачении» других коммунистов, в том числе и таких политически неопытных людей, как я. В конце 1936 года Коган, переведенный к тому времени в Ярославль, бросился под поезд, не в силах больше переносить ожидания ареста.

Немного поднялось мое настроение в связи с тем, что секретарь райкома партии оказался таким же «непонятливым», как я. Когда мой выговор поступил по моей апелляции на бюро райкома, он удивился:

– За что же ей выговор? Ведь Эльвова знали все. Ему доверяли обком и горком. Или за то, что по одной улице с ним ходила?

И выговор отменили, оставив (по настоянию других членов бюро, лучше секретаря разобравшихся в том, что требовалось от них «на данном этапе») – поставить на вид «недостаточную бдительность».

Глава четвертая Снежный ком

В семи километрах от города, на живописном берегу Казанки, расположилась обкомовская дача «Ливадия». Построил ее предшественник Лепы, бывший секретарь обкома Михаил Разумов. Коротконогий толстяк с пронзительными голубыми глазами и профилем Людовика XVI, член партии с 1912 года, он был связан близкой дружбой с моим мужем – Аксеновым. Поэтому мы знали этого «первого бригадира Татарстана» (такая формула подхалимства была в то время в ходу) очень хорошо.

Это был человек, полный противоречивых качеств. При несомненной преданности партии, при больших организаторских данных он был очень склонен к «культу» собственной личности. Я познакомилась с ним в 1929 году, и он овельможивался буквально на моих глазах. Еще в 1930 году он занимал всего одну комнату в квартире Аксеновых, а проголодавшись, резал перочинным ножиком на бумажке колбасу. В 1931 году он построил «Ливадию» и в ней для себя отдельный коттедж. А в 1933-м, когда за успехи в колхозном строительстве Татария была награждена орденом Ленина, портреты Разумова уже носили с песнопениями по городу, а на сельхозвыставке эти портреты были выполнены инициативными художниками из самых различных злаков – от овса до чечевицы.

Мы, близкие личные приятели Разумова, еще задолго до того, как аналогичная ситуация была описана Ильфом и Петровым, поддразнивали своего секретаря:

– Михаил Осипович, вам ночью воробы глаза выклевали. Посмотрите, на Черном озере!

Летом в «Ливадии» отдыхали члены бюро обкома с семьями. Круглый год приезжали по выходным.

В один из весенних дней 1935 года мы приехали тоже всей семьей на день отдыха. За одним из столиков я заметила новое лицо.

– Это что еще за рыжий Мотеле? – шепотом спросила я мужа.

– Не рыжий, а черный, и не Мотеле, а товарищ Бейлин, новый председатель партколлегии КПК.

Думала ли я тогда, что за внешним обликом добродушного местечкового портного скрывается мой первый инквизитор?

Нас познакомили. Что-то блеснуло в его глазах при упоминании моей фамилии, но он тут же погасил этот взгляд, устремив его на тарелку со знаменитыми ливадийскими пирожками. Оказалось, что мое «дело» уже лежало на его служебном столе.

Через несколько дней после этой первой встречи я уже сидела перед жгучими садистско-фанатическими очами товарища Бейлина в его кабинете, и он со всей талмудистской изощренностью уточнял и оттачивал формулировки в отношении моих «преступлений». Снежный ком покатился под гору, катастрофически разбухая и грозя задушить меня.

У товарища Бейлина был тихий голос. Он называл меня по-партийному на «ты».

– Ты разве не читала статью товарища Сталина? Ведь ты высококвалифицированная и не могла не понять ее.

– Ты разве не знала, что по вопросам перманентной революции Эльвов имел ошибки?

– Ты не признала на партийном собрании своей вины. Значит, ты не хочешь разоружиться перед партией?

Я не понимала, что значит «разоружиться», и пыталась убеждать Бейлина, что я никогда против партии не вооружалась.

Он мягко прикрывал полукруглыми веками свои горячие глаза и тихим голосом начинал все сначала.

– Тот, кто не хочет разоружиться перед партией, объективно скатывается на позиции ее врагов...

Я снова делала отчаянные попытки удержаться на поверхности, напоминая моему строгому духовнику, что ведь, в сущности, я ничего плохого не сделала, кроме того, что была знакома по работе с Эльвовым, как и все работники нашего вуза.

– Ты опять не понимаешь, что примиренчество к враждебным партии элементам объективно ведет к скатыванию...

Не слушая моих возражений, он катил ком вперед, проталкивая его по определенному, продуманному, мне еще не вполне понятному плану.

Скоро наши ежедневные беседы перестали быть уединенными. Приехал товарищ из Москвы, фамилии которого я не помню, но которого я мысленно всегда называла Малютой Скуратовым. Это был антипод Бейлина по приемам следствия, но в то же время его двойник по садистской изощренности.

Глаза Бейлина, прикрытые выпуклыми веками, светились приглушенной радостью, которую доставляло ему издевательство над человеком. Глаза Малюты излучали открыто сотни сверкающих неистовых лучей. Бейлин говорил тихим грудным голосом. Малюта орал. Он даже ругался. Правда, ругательства его были еще далеки от тех, которые мне довелось потом услышать в НКВД. Это были политические ругательства. Соглашатели! Праволевац-кие уроды! Троцкистские выродки! Примиренцы задрипанные!

Они пытали меня два месяца, и к весне у меня началось настоящее нервное расстройство, обострившееся приступами малярии.

Когда я сравниваю эти свои переживания периода «прелюдии» с тем, что довелось вынести потом, с 1937 года до смерти Сталина, точнее, до самого июльского Пленума ЦК, разоблачившего Берию, меня всегда поражает несоответствие моей реакции внешним раздражителям. В самом деле, ведь до 15 февраля 1937 года я страдала только морально. В смысле внешних условий жизнь моя еще не изменилась. Еще цела была моя семья. Мои дорогие дети были со мной. Я жила в привычной квартире, спала на чистой постели, ела досыта, занималась умственным трудом. Но субъективно мои страдания этого периода были гораздо глубже, чем в последующие годы, когда я была заперта в каменном мешке политизолятора или пилила вековые деревья в колымской тайге.

Чем объяснить это? Тем ли, что ожидание неотвратимой беды хуже, чем сама беда? Или тем, что физические страдания заглушают боль душевной муки? Или просто человек может привыкнуть ко всему, даже к самому страшному злодейству, и поэтому повторные удары, полученные от страшной системы травли, инквизиции, палачества, ранили уже менее остро, чем при первых встречах с этой системой?

Так или иначе, но 1935 год был для меня ужасен. Нервы готовы были сдать. Преследовала настойчивая мысль о самоубийстве.

В этом отношении лекарством (правда, временным) оказалась для меня трагическая история коммунистки Питковской, разыгравшаяся в начале осени 1935 года. Питковская работала в школьном отделе обкома. Это была одна из тех, кто принес в тридцатые годы все повадки периода гражданской войны. Та самая, о каких говорил Пильняк: «Большевики... Кожаные куртки... Энергично функционировать...» Не могу сейчас вспомнить, как ее звали. Да ее никто и не звал по имени. Питковская! Ее можно было нагрузить партработой за четверых, у нее можно было взять деньги без отдачи, над ней можно было легонько подшучивать. Она не обижалась на своих. Вот уж кто по-настоящему расценивал партию как великое братство! Самоотверженная натура, она отягощала свою щепетильную совесть постоянным чувством вины перед партией. Вина эта заключалась в том, что муж Питковской – Донцов – примыкал в 1927 году к оппозиции. Питковская нежно любила мужа, но сурово и прямолинейно осуждала его за прошлое. Даже своему пятилетнему сыну она пыталась популярно объяснить, как глу-

боко провинился перед партией его отец. Она потребовала от мужа, чтобы он «переварился в пролетарском котле». Конкретно, она не разрешала ему жить в таком большом городе, как Казань, а заставила его работать у станка на Зеленодольском пароходоремонтном заводе.

К осени 1935 года стали арестовывать всех, кто был в свое время связан с оппозицией. Тогда почти никто не понимал, что акции подобного рода проводятся по строгому плану, абсолютно вне всякой связи с фактическим поведением отдельных лиц, принадлежащих к данной категории, запланированной к изъятию. Меньше всех могла это понять Питковская.

Когда ночью за Донцовым, приехавшим на воскресенье из Зеленодольска в Казань, пришли из НКВД, она провела сцену, достойную античной трагедии. Сердце ее, конечно, разрывалось от боли за любимого мужа, отца ее ребенка. Но она подавила эту боль. Она патетически воскликнула:

– Так он лгал мне? Так он все-таки шел против партии?

Неопределенно усмехнувшись, оперативники буркнули:

– Бельишко ему соберите...

Она отказалась сделать это для «врага партии». Когда Донцов подошел к кровати спящего сына, чтобы проститься с ребенком, она загородила кроватьку:

– У моего сына нет отца.

Потом бросилась пожимать оперативникам руки и клясться им, что сын будет воспитан в преданности партии.

Все это она рассказала мне сама. Я абсолютно исключаю хотя бы малейший элемент расчета или лицемерия в таком поведении этой женщины. При всей нелепости ее поступков они были вызваны искренними движениями наивной души, прямолинейно преданной идеям ее боевой молодости. Мысль о возможности чьего-то перерождения, о негодях, охваченных страстью властолюбия, о коварстве, о бонапартиках не умещалась в этом чистом, угловатом сердце.

На другой же день после ареста Донцова Питковскую сняли с работы в обкоме. Специальности у нее не было. Да если бы и была, вряд ли можно было устроиться куда-нибудь с формулировкой увольнения: «За связь с врагом партии». С этой же мотивировкой она была вскоре исключена из партии.

Грешница, я дала ей свое пальто и денег на дорогу до Москвы, куда она поехала хлопотать о восстановлении. Но ее не восстановили.

Вернувшись в Казань, она короткий срок проработала у станка на заводе пишущих машинок. Потом поранила правую руку.

Есть стало нечего. Мальчишку выгнали из детсада. С ней перестали понемногу здороваться. Я по звонку, осторожному и неуверенному, узнавала: это идет к нам Питковская. Успокаивали, подкармливали. Потом муж сказал мне, что я сама на подозрении и «связь с Питковской» повлияет на исход моего «дела». Я переживала душевную муку. Естественное желание помочь хорошему товарищу, преданному коммунисту натыкалось на подленький страх: не узнали бы про ежедневные визиты Питковской Бейлин с Малютой. Растерзают.

Но вот она перестала приходить. День, два, три. На четвертый стало известно, что, послав Сталину письмо, полное выражений любви и преданности, Питковская выпила стакан искусственной эссенции. В предсмертной записке никого не винила, расценивала все как недоразумение, умоляла считать ее коммунисткой.

За гробом ее шел пятилетний Вовка, обкомовская уборщица, которую покойница часто вырочала деньгами, и два-три «отчаянных» из бывших товарищей.

Увидав этот жалкий холмик без креста или звезды, я поняла: нет, я не сделаю так. Я буду бороться за сохранение своей жизни. Пусть убивают, если смогут, но помогать им в этом я не буду.

К осени Бейлин с Малютой вынесли решение: строгий с предупреждением за примиренчество к враждебным партии элементам, с запрещением вести преподавательскую работу. Но это, конечно, еще не было развязкой. Снежный ком продолжал катиться дальше.

Глава пятая

«Ума палата, а глупости – саратовская степь...»

Моя свекровь Авдотья Васильевна Аксенова, родившаяся еще при крепостном праве, простая неграмотная «баба рязанская», отличалась глубоким философским складом ума и поразительной способностью по-писательски метко, почти афористично выражать свои мнения по самым разнообразным вопросам жизни. Говорила она на певучем южнорусском наречии, щедро уснащая свою речь пословицами и поговорками. Подобно древнему царю Соломону, изрекавшему в острые моменты жизни свое «И это пройдет», наша бабушка, выслушав сообщение о каком-либо выходящем из ряда вон происшествии, обычно говорила: «Такое-то уж было...»

Помню, как мы были поражены ее выступлением за семейным столом по поводу убийства Кирова.

– Такое-то уж было...

– Как это было?

– Да так. Царя-то ведь уж убивали... (Она имела в виду ни больше ни меньше как убийство Александра II.) В ту пору я еще молоденькая была... А только сейчас чегой-то не туды стреляли-то... Ведь у нас нынче царем-то не Киров, а Сталин... Пошто в Кирова-то? Ну, да это дальше видать будет...

До мельчайших подробностей помню день первого сентября 1935 года, когда я, снятая партколлегией с преподавательской работы, заперлась в своей комнате, испытывая поистине танталовы муки. Я всю жизнь или училась или учила других. День первого сентября был для меня всегда даже более важным, чем день Нового года. И вот я сижу в этот день одна, отверженная, а с улицы доносятся привычные звуки возрождающейся после лета жизни вузов, школ. Шумит Казань – город студентов. Но я не войду больше под колонны родного университета.

Бабка Авдотья нарочито громко шаркает за дверью туфлями и вздыхает. Но я не выхожу и не зову ее. Я не могу сейчас никого видеть. Даже детей. Я одинока, как Робинзон Крузо.

Сижу так до обеда, пока у дверей не раздастся резкий звонок и торопливый бабушкин голос:

– К тебе, Евгенья, голубчик. Выдь-ка...

В двери незнакомый мальчишка-посыльный. Он протягивает мне большой букет печальных осенних цветов – астр. В букете записка с теплыми словами моих прошлогодних слушателей.

Я не в силах удержаться даже до ухода мальчика. Я начинаю громко плакать, просто реветь белугой, выть и причитать совсем по-рязански, так что бабка Авдотья заливается мне в тон, приговаривая:

– Да ты ж моя болезная... Да ты ж моя головушка бедная...

Потом бабушка резко прерывает плач, закрывает двери и шепотом говорит:

– Отчаянны головушки, студенты-то... Що им за те цветы еще будет... Евгенья-голубчик, а я тебе що скажу... А ты мене послухай, хочь я и старая и неученая... Капкан, Евгенья, капкан круг тебе вьется... Беги, покудова цела, покудова на шею не закинули. Ляжить пословица – с глаз долой, из сердца вон! Раз такое дело, надо тебе отсюда подальше податься. Давай-кось мы тебя к нам, в сяло, в Покровское, отправим...

Я продолжаю вслух рыдать, еще не вполне понимая смысл ее предложения.

– Право слово... Тамотка таких шибко грамотных, как ты, дуюе надо. Изба-то наша стоит пуста, заколочена. А в садочке-то яблони... Пятнадцать корней.

Я прислушиваюсь.

– Что ты, Авдотья Васильевна? Как же это я все брошу: детей, работу?

– А с работы-то, вишь, и так выгнали. А детей твоих мы не обидим.

– Да ведь я должна партии свою правоту доказать! Что же я, коммунистка, от партии прятаться буду?

– Евгенья-голубчик... Ты резко-то не шуми. Я ведь не чужая. Кому правоту-то свою доказывать станешь? До бога высоко, до Сталина – далеко...

– Нет, что ты, что ты... Умру, а докажу! В Москву поеду. Бороться буду...

– Эх, Евгенья-голубчик! Ума в тебе – палата, а глупости – саратовская степь!

Муж мой только покровительственно усмехнулся, когда я рассказала про бабушкино предложение. Еще бы! Ведь мы владели истиной в ее конечной форме, а она была всего-навсего «баба рязанская».

Позднее, когда я отправилась в Москву обивать пороги комиссии партийного контроля, мне пришлось еще раз встретиться с предложением, напоминавшим вариант Авдотьи Васильевны.

Там, на Ильинке, встречались в те дни многие коммунисты, попавшие первыми в «сеть Люцифера». В очереди у кабинета партследователя я встретила знакомого молодого врача Диковицкого. Он был по национальности цыган. Мы знали друг друга еще в ранней юности, и теперь он доверительно рассказал мне о своей «чертовщине». Он тоже «не проявил бдительности» и, наоборот, «проявил гнилой либерализм». Он тоже куда-то «объективно скатился» и т. д.

– Слушай, Женя, – сказал он мне. – А ведь если вдуматься, дела наши плохи. Хождение на Ильинку вряд ли поможет. Надо искать другие варианты. Как бы ты отнеслась, например, если бы я спел тебе популярный романс: «Уйдем, мой друг, уйдем в шатры к цыганам»?

Его синие белки сверкнули прежним озорством.

– Еще можешь шутить?

– Да несколько. Ты послушай. Я цыган натуральный, ты тоже вполне сойдешь за цыганку Азу. Давай исчезнем на энный период с горизонта. Для всех, даже для своих семей. Ну, например, в газете вдруг появляется объявление в черной каемке. Дескать, П.В. Аксенов с прискорбием извещает о безвременной кончине своей жены и друга... Ну и так далее. Пожалуй, тогда твоему Бейлину волей-неволей придется сдать дело в архив. А мы с тобой присоединились бы к какому-нибудь табору и годика два побродили бы как вольные туристы, пока волна спадет. А?

И это, по сути дела, мудрое предложение показалось мне авантюристским, заслуживающим только улыбки. А между тем несколько лет спустя, оглядываясь на прошлое, я с удивлением вспоминала, что ведь многие действительно спаслись именно таким путем. Одни уехали в дальние, тогда еще экзотические, районы Казахстана или Дальнего Востока. Так сделал, например, бывший ответственный секретарь казанской газеты Павел Кузнецов, который фигурировал в моем обвинительном заключении как обвиняемый в принадлежности к «группе», но никогда не был арестован, так как уехал в Казахстан, где его не сразу нашли, а потом перестали искать. Он еще потом печатал в «Правде» свои переводы казахских акынов, прославлявших «батыра Ежова» и великого Сталина.

Некоторые «потеряли» партбилеты и были исключены за это, после чего тоже выехали в другие города и села. Некоторые женщины срочно забеременели, наивно полагая, что это спасет их от карающей десницы ежовско-бериевского «правосудия». Эти-то бедняжки здорово просчитались и только увеличили число покинутых сирот.

Да, люди искали всевозможные варианты выхода, и те, у кого здравый смысл, наблюдательность и способность к самостоятельному мышлению перевешивали навыки, привитые догматическим воспитанием, те, над кем не довлекла почти мистическая сила «формулировок», иногда находили этот выход.

Что касается меня, то, оставаясь все на той же почве правдивости, нельзя не признать, что я выбрала самый нелепый из всех возможных вариантов самозащиты: пламенные доказа-

тельства своей невиновности, горячие заверения в преданности партии, расточаемые то перед садистами, то перед чиновниками, ошеломленными фантастической реальностью тех дней и дрожащими за собственную шкуру. Да, бабушка Авдотья была права. Не знаю, была ли «ума – палата», но уж глупости-то действительно была «саратовская степь».

Глава шестая Последний год

Он был удивительно противоречив для меня, этот последний год моей первой жизни, оборвавшейся в феврале 1937-го. С одной стороны, было очевидно, что я на всех парах качусь к пропасти. Все более свинцовыми тучами затягивался политический небосклон. Шли процессы. Процесс Зиновьева – Каменева. Кемеровское дело. Процесс Радека – Пятакова.

Газетные листы жгли, кололись, щупальцами скорпиона впивались в самое сердце. После каждого процесса дело закручивалось все туже. Вошел в жизнь страшный термин «враг народа». Каждая область и национальная республика по какой-то чудовищной логике должны были тоже иметь своих «врагов», чтобы не отстать от центра. Как в любой кампании, как, скажем, при хлебозаготовках или поставках молока.

А я была меченая. И каждую секунду чувствовала это... Почти весь этот год я прожила в Москве, так как «дело», находившееся по моей апелляции в КПК, требовало постоянных посещений коридоров Ильинки.

Мой муж еще оставался членом ЦИК СССР, и поэтому жила я в комфортабельном номере гостиницы «Москва», а при моих постоянных поездках из Казани и в Казань меня встречали и провожали машины татарского представительства в Москве. Эти же машины доставляли меня и на Ильинку, где решался вопрос – быть мне или не быть. Таковы были гримасы времени и своеобразная «неравномерность» развития событий.

В это лето умер Горький, и на его похоронах я в первый и в последний раз в жизни видела Сталина. Я шла в рядах Союза писателей, так что имела возможность очень близко разглядеть его.

Было бы преувеличением, если бы я стала теперь, задним числом, приписывать себе особенно глубокие мысли о роли Сталина в назревавшей трагедии партии и страны. Эти мысли пришли позднее по мере ознакомления со сталинизмом в действии. Но я не солгу, если скажу, что я без всякого обожания рассматривала тогда его лицо, поразившее меня своей некрасивостью и несходством с тем царственным ликом, который благостно взирал на нас с миллионов портретов. Даже больше чем «без обожания». Правильнее будет сказать – с затаенной враждебностью, хотя еще и неосознанной, слабо мотивированной, инстинктивной.

А что творилось вокруг меня в этом отношении! Рядом со мной шел Федор Гладков, уже тогда старик. Надо было видеть религиозный восторг на его лице, когда он взглядывал на Сталина. А с другой стороны шла начинающая писательница из Вологды. Я запомнила экста- тическое иступление, с которым она шептала: «Видела Сталина. Теперь можно и умереть...»

И хорошо запомнила вспыхнувшее во мне в ответ чувство раздражения и отчетливо прозвучавшее в моем мозгу слово: «Идиотка!»

По-видимому, какое-то шестое чувство подсказывало, что этот человек будет палачом моим и моих детей. Во всяком случае, когда зав. школьным отделом ЦК Макаровский, очень ко мне расположенный, предложил мне однажды «поговорить при случае с Хозяином» о моем «деле», я пришла в ужас. Нет, нет, пусть он хоть персонально меня не знает! Наивно монархическая идея о добром вожде, не знающем о злоупотреблениях своих злых чиновников, уже тогда, на ранних этапах моего крутого маршрута, не находила во мне отклика.

(Не знаю, вспомнил ли потом Макаровский, тоже попавший в тюрьму, как я была права в этом вопросе.)

...Самые различные характеры встречались среди «меченых», штурмовавших коридоры Ильинки. Были плачущие женщины и ругающиеся мужчины. Были люди, покорно ждущие решения своей судьбы; и были люди, переходящие в наступление на партследователей. Вот

рядом со мной томится на деревянном жестком диванчике директор одного из харьковских заводов.

– Прошу!

Это он протянул мне раскрытый портсигар.

– Спасибо. Не курю.

– Как – не курите? Да разве это возможно в нашем положении? А чем же вы тогда это самое... – он колотит себя в грудь мелкими ударами... – чем заглушаете?

– Театрами. Каждый день в театр. Вчера у Охлопкова. Сегодня – в Малый.

– Неужели помогает?

– Да ничего вроде...

В разговор вмешивается сорокалетний рабочий с добрыми карими глазами и простодушным мягким ртом.

– Вы еще шутите, товарищи. А мне не до шуток... Жену ревматизм разбил, второй год, как обезножела. Трое ребят. А меня вот из партии и с работы... Так разве до театров тут? Последнее проживаю здесь, в Москве. Сам я из Запорожья. Наборщик. Печатник старый.

Харьковский директор протягивает ему портсигар:

– Кури, браток. А на шуточки не сердись. Юмор висельников. А ты за что?

Рабочий некоторое время молчит, затем, наклонившись вперед, как под бременем невыносимого груза, хлопает себя по голенищам старых сапог и с отчаянием восклицает:

– Через Плеханова пропадаю!

– Как?

– Шел, слышь, у нас политкружок. Партучеба, одним словом. Задали нам про партию нового типа учить... А я... Виноват, конечно, не выучил я. Детишки, понимаешь, а она, жена-то, лежит, понимаешь ты, в лежку. Запарился совсем. До учебы разве? А тут меня и спрашивают на кружке: «Кто, мол, основал партию нового типа?» Мне бы, дураку, прямо сказать: «Простите великодушно, не подготовлен, мол, к ответу, книжку не раскрывал по причине семейного тяжелого положения». А я... Дернула же нелегкая. Послышалось мне, вроде кто-то шепчет, подсказывает: «Плеханов»! Ну я взял да и брякнул наотмашь: «Плеханов, мол, основал». Вот с тех пор и пошло. По первости-то было выговор объявили, а потом – дальше в лес, больше дров. Большевиком стали называть, поверите? Их, дескать, раньше много среди печатников было, и ты, мол, зараженный. Исключили, с работы сняли. Голодуют детишки. А она...

Лицо рассказчика исказилось гримасой сдерживаемого стона.

– Не вынесет. Помрет...

Он помолчал еще немного и добавил:

– И все через Плеханова...

Его вызвали к партследователю первым, и мы слышали из-за двери обращенный к нему вопрос:

– Признаете ли вы себя виновным в том, что использовали занятие политкружка для пропаганды враждебных партии меньшевистских взглядов?

В какой-то момент показалось, что мне немного повезло на Ильинке. Член партколлегии Сидоров, работник ПУРа, проявил ко мне внимание и сочувствие. Он возмущился формулировкой бейлинского решения, в котором говорилось между прочим: «Запретить пропаганду марксизма-ленинизма».

– Черт знает что! Запретить коммунисту пропаганду марксизма! Ни в какие ворота не лезет! Усердие не по разуму.

Он обнадежил меня, что взыскание будет уменьшено. И действительно, к ноябрю я получила выписку, в которой «во изменение решения партколлегии по Татарии» строгий с предупреждением заменялся просто строгим. Пункт о запрещении преподавания и пропаган-

дистской работы был совсем снят, а мотивировка «за примиренчество к враждебным партии элементам» была заменена более мягкой – «за притупление политической бдительности».

– А затихнет немного обстановка, подадите через годик на снятие, – сочувственно напутствовал меня Сидоров, и по искреннему выражению его лица видно было, что этот серьезный человек с большим партийным прошлым действительно надеется на возможность «затихания» обстановки.

Да, масштабов предстоящих событий не могли предвидеть даже такие умудренные опытом партийцы. Что же удивляться, что такая счастливая обладательница строгого БЕЗ предупреждения, как я, тут же покатила в Казань, почти совсем утешенная.

Увы, иллюзии развеялись очень быстро! Я буквально не успела распаковать чемодан, как принесли посланную мне вслед телеграмму из КПК:

«Новое слушание вашего персонального дела назначено на такое-то. Немедленно выезжайте Москву. Емель-ян Ярославский».

Позднее я узнала, что Бейлин, оказавшийся в Москве в момент облегчения моего взыскания, не мог стерпеть такого удара по самолюбию, обратился к Ярославскому с жалобой на Сидорова и с протестом против изменения его, бейлинского, решения. Кроме того, он представил Ярославскому дополнительные обвинения против меня. Я была виновна, оказывается, не только в связи с «ныне репрессированным Эльвовым», но и с «ныне репрессированным Михаилом Корбутом».

И опять бабка Авдотья сказала мне:

– Не езд в Москву-то, Евгений, пра не езд! В Покровское, да потихоньку...

И опять я ответила:

– Что ты, бабушка! Разве коммунист может бежать от партии?

И поехала. Поехала к Емельяну Ярославскому, который обвинил меня в том, что я «не разоблачила» неправильность статьи Эльвова, который САМ эту статью поместил в редакционной им, Ярославским, четырехтомной «Истории ВКП». Было от чего взяться за голову!

В тот же вечер я снова выехала обратно в Москву.

Глава седьмая

Счет пошел на миги

С этого момента события понеслись с головокружительной быстротой. Последние два с половиной месяца до момента ареста я провела в мучительной борьбе между доводами рассудка и тем неясным ощущением, которое Лермонтов назвал «пророческой тоской».

Умом я считала, что арестовывать меня абсолютно не за что. Конечно, в тех чудовищных обвинениях, которые ежедневно адресовывались газетами «врагам народа», явно ощущалось нечто гиперболическое, не вполне реальное, но все-таки – думала я – хоть что-то, хоть маленькое, ведь наверняка было, ну голоснули там когда-нибудь невпопад. Но я ведь никогда не принадлежала к оппозиции. У меня ведь не было никогда и тени сомнений в правильности генеральной линии.

– Если брать таких, как ты, то надо всю партию арестовывать! – поддерживал меня в этих умозаключениях муж.

Однако вопреки всем этим доводам рассудка меня не оставляло предчувствие близкой гибели. Казалось, я стою в центре железного кольца, которое все сжимается и скоро меня раздавит.

Ужасной была обратная поездка в Москву по вызову Ярославского. Вот когда я была на волосок от самоубийства!

В купе мягкого вагона нас оказалось только двое: я и знакомая врач-педиатр Макарова, возвращавшаяся из Казани после защиты диссертации.

Это была приятная молчаливая женщина с мягкими движениями и очень внимательным взглядом.

Мне казалось, что я довольно удачно маскирую свое состояние разговором о разных пустяках. Но она вдруг, без всякой видимой связи с темой болтовни, погладила меня по руке и тихо сказала:

– Я очень жалею своих знакомых-коммунистов. Тяжело вам сейчас. Ведь каждого могут обвинить.

Ночью на меня навалилась такая несусветная мука, что я, стараясь не шуметь, вышла из купе сначала в пустой коридор вагона, а потом и на площадку. Мыслей как будто никаких не было, но в непрерывном потоке сознания вдруг откристаллизировалось некрасовское четверостишие:

*Тот, чья жизнь безнадежно разбилась,
Может смертью еще доказать,
Что в нем сердце не робкое билось,
Что умел он любить и...*

Это выстукивали колеса, это выстукивали молоточки, бившие в моих висках. На площадку я вышла именно для того, чтобы отделаться от этого назойливого стука. В первые минуты ноябрьский ветер, распахнувший легкий халатик, отвлек мои чувства. Стало полегче. Потом снова навалилось.

Я приоткрыла дверь вагона. В лицо брызнул холодный воздух. Взглянула вниз в стучащую тьму колес. Явь окончательно слилась с каким-то мучительным сном. Один шаг... Один миг... И уже не надо будет к Ярославскому. И больше нечего будет бояться...

Кто-то мягко, но сильно взял меня за руку повыше локтя. Ей бы не педиатром, а невропатологом или психиатром быть, этой Макаровой. Не вскрикнула, не посыпала словами, а только властно увела в купе, уложила, погладила по волосам. А сказала одну только фразу:

– Ведь это все пройдет... А жизнь только одна...

...Я никогда не думала, что Ярославский, которого называли партийной совестью, может строить такие лживые силлогизмы. Из его уст я впервые услышала ставшую популярной в 1937 году теорию о том, что «объективное и субъективное – это, по сути, одно и то же». Совершил ли ты преступление или своей ненаблюдательностью, отсутствием бдительности «лил воду на мельницу» преступника, ты все равно виноват. Даже если ты понятия не имел ни о чем – все равно. В отношении меня получалась такая «логическая» цепочка: Эльвов сделал в своей статье теоретические ошибки. Хотел он этого или не хотел – все равно. Объективно это опять-таки «вода на мельницу» врагов. Вы, работая с Эльвовым и зная, что он был автором такой статьи, не разоблачили его. А это и есть пособничество врагам.

На смену «притуплению бдительности», записанному сочувственным и гуманным Сидоровым, пришла теперь новая формулировка моих злодеяний. Она была уже похлеще даже бейлинского «примиренчества». Теперь Ярославский предъявил мне обвинение в «пособничестве врагам народа».

Таким образом, точка над «і» была поставлена. Пособничество врагу – уголовно наказуемое деяние.

Сдержанность оставила меня. Я закричала на этого почтенного старика, затопала на него ногами. Я была способна броситься с кулаками, если бы между нами не сверкала полировкой широкая гладь его письменного стола.

Не помню уж, что именно я там выкрикивала, но суть моих слов сводилась к контробвинению. Да, я была доведена до такого отчаяния, что стала бросать в лицо ему простые вопросы, вытекающие из элементарного здравого смысла. А такие вопросы считались в те времена в высшей степени дурным тоном. Все должны были делать вид, что изуверские силлогизмы отражают естественный ход всеобщих мыслей. Достаточно было кому-нибудь задать вопрос, разоблачающий безумие, как окружающие или возмущались, или снисходительно усмехались, третируя спрашивающего как идиота.

Но в том состоянии аффекта, в котором я находилась в кабинете Ярославского, я позволила себе кричать ему:

– Ну хорошо, я не выступила! Но вы-то ведь не только не выступили, а еще сами отредактировали эту статью и напечатали ее в четырехтомной Истории партии. Почему же вы судите меня, а не я вас? Ведь мне 30 лет, а вам 60. Ведь я молодой член партии, а вы – партийная совесть! Почему же меня надо растерзать, а вас держать вот за этим столом? И не стыдно все это?

На мгновение в его глазах мелькнул испуг. Он явно принял меня за сумасшедшую. Слишком уж дерзкими были мои слова, произнесенные в этой комнате, похожей не то на алтарь, не то на судилище. Но тут же снова накинул на лицо привычную маску ханжеской суровости и квакерской прямолинейности. Потом сказал с почти натуральной дрожью в голосе:

– Никто лучше меня не осознает моих ошибок. Да, я человек, невысказанный вне партии, виноват в этом перед партией.

У меня уже висел на кончике языка новый безумный до дерзости вопрос: «Почему же ваша ошибка искупается только ее осознанием, а я почему должна расплачиваться кровью, жизнью, детьми?»

Но я не произнесла этих слов. Аффект прошел. На смену ему пришел ужас. Что это я наговорила? Что теперь со мной сделают? Потом на смену ужасу – беспощадная ясность: все безразлично, все бесполезно. Настало время или умирать, или молча идти на свою Голгофу вместе с другими, с тысячами других.

Когда мне сказали, чтобы я ехала в Казань, куда вскоре будет прислано решение, я затропилась. Теперь-то я твердо знала, что счет моей жизни идет не на годы и даже не на месяцы. Счет пошел на миги, и надо было торопиться к детям. Что с ними будет, с моими сиротами?

Глава восьмая

Настал тридцать седьмой

И вот наступил – этот девятьсот проклятый год, ставший рубежом для миллионов. Я встретила его, этот последний Новый год моей первой жизни, под Москвой, в доме отдыха ЦИК СССР в Астафьеве, около Подольска.

Вернувшись в Казань после разговора с Ярославским, я застала Алешу, старшего сына, тяжело больным малярией. Врачи советовали сменить климат. Наступали школьные зимние каникулы, и увезти его было можно. Муж достал путевки в Астафьево. Он был очень доволен, что я снова уеду.

– Лучше тебе сейчас поменьше быть в Казани, на глазах...

Теперь мучительная тревога терзала и его. Уже шли аресты. Они уже коснулись очень хорошо знакомых нам людей. Одним из первых был взят директор Туберкулезного института профессор Аксянцев, старый член партии. Следом за ним – директор университета Векслин, чья безоглядная преданность партии вошла в Казани в поговорку. Этот человек в рваной шинелишке прошел всю гражданскую, переходя с фронта на фронт. Герой Перекопа...

Муж стал теперь больше бывать дома. Его измучили заседания, на которых он как член бюро обкома сидел в президиуме и должен был молча выслушивать как склоняли и спрягали эльвовское дело и меня как его участницу.

Ему было непривычно оставаться по вечерам дома. Он молча мерил шагами комнату, время от времени останавливался и произносил:

– Кто его знает, Векслина-то... Человек увлекающийся! Может, и вправду сотворил что-нибудь...

Он стал теперь внимательно присматриваться к детям, с которыми раньше только шутил. Даже заметил, что у Васи вытертое пальтишко. Надо новое.

Но стоило мне начать откровенный разговор о происходящих событиях, как он немедленно становился на ортодоксальные позиции. Мне он, конечно, верил безоговорочно, знал, что я ни в чем не виновата. Но тех оценок положения, которые начинали довольно четко складываться у меня в сознании, он, член бюро обкома, не разделял. Его больше устраивало предположение, что в отношении меня персонально произошла ошибка. Он по-рыцарски вел себя на многочисленных собраниях, где от него требовали «отмежеваться» от жены. Там он заявлял, что знает свою жену как честную коммунистку. Но дома иногда...

– Что же это происходит в нашей партии, а, Паша? – спрашивала я.

– Сложно, конечно, Женюша. Ну что поделаешь! Особый этап в развитии нашей партии...

– Что же это за этап? Что всем членам партии предстоит ехать по этапу? – горько острою я. Он раздражается.

– Ты прости, Женюша, но в таких шуточках нехороший привкус есть. Ты личную свою обиду отбрось. На партию не обижаются.

Иногда между нами возникали на этой почве серьезные конфликты. Помню одну тяжелую сцену поздно вечером, в безлюдном Дядском садике, напротив нашего дома. Мы вышли пройтись перед сном. Против воли разговор сворачивал все в ту же колею. Я сказала что-то злое и насмешливое по адресу Ярославского. Муж вспыхнул:

– Что ты говоришь! С тобой и впрямь в тюрьму попадешь!

– О, будь спокоен! И без меня тоже...

Я вырвала у него свою руку. Он, испугавшись своих резких слов, хотел удержать ее, но я снова рванулась, и так сильно, что мои маленькие золотые часики упали в сугроб, оторачивавший аллею сада. Мы искали их потом больше часа и не нашли.

В наших позах, когда мы, склонившись над сугробом, разрывали его голыми руками, в наших лицах, взбудораженных ссорой, уже чувствовалась тень вплотную надвинувшейся катастрофы. Самое страшное было в том, что каждый из нас читал на лице другого отчетливую мысль: ведь мы только делаем вид, что расстроены пропажей часов и обязательно хотим найти их. На самом деле – нам не до них. Ведь пропала жизнь. И еще каждый делает вид, что эта ссора важна для него и волнует. А в действительности что значит ТЕПЕРЬ супружеская ссора? Ведь мы уже вне жизни, вне обычных человеческих отношений. Но это был только подтекст, не высказанный даже самим себе.

...Астафьево – пушкинское место, бывшее имение князя Вяземского – было в свое время «Ливадией» столичного масштаба. На зимних каникулах там в большом количестве отдыхали «ответственные дети», делившие всех окружающих на категории соответственно марке машин. «Линкольнчики» и «бьюишники» котировались высоко, «фордшников» третировали. Мы принадлежали к последним, и Алеша сразу уловил это.

– Противные ребята, – говорил он, – ты только послушай, мамочка, как они отзываются об учителях...

Несмотря на то что в Астафьеве кормили, как в лучшем ресторане, а вазы с фруктами стояли в каждом номере и пополнялись по мере опустошения, некоторые дамы, сходясь в курзале, брюзгливо критиковали местное питание, сравнивая его с питанием в «Соснах» и «Барвихе».

Это был настоящий пир во время чумы. Ведь 90 процентов тогдашнего астафьевского населения было обречено, и почти все они в течение ближайших месяцев сменили комфортабельные астафьевские комнаты на верхние и нижние нары Бутырской тюрьмы. Их дети, так хорошо разбиравшиеся в марках автомобилей, стали питомцами специальных детдомов. И даже шоферы были привлечены за «соучастие» в чем-то. Но пока еще никто не знал о приближении чумы и пир шел вовсю.

Подошел новогодний вечер. Накрыли в столовой обильный стол. Дамы нарядились. Алеша потребовал, чтобы и я надела новое платье.

– Ну что ты, мамуля. Нельзя в старом. Я люблю, когда ты красивая...

Без пяти 12, когда уже были налиты бокалы, меня вдруг вызвали к телефону. Побежала радостно, думала – муж. В начале января должна была состояться сессия ЦИК. Наверно, приехал в Москву, хочет поздравить.

И вдруг в трубке забасил голос одного случайного, не очень симпатичного знакомого, который почему-то решил поздравить меня.

Пока я выслушивала его приветствия, пока добежала до столовой – Новый год уже наступил. Я вошла в столовую, когда гонг ударял в двенадцатый раз. Алеша, отвернувшись в другую сторону, чокался с кем-то. Когда он повернулся ко мне, уже прошло две минуты тридцать седьмого года.

Мне не пришлось его встретить вместе с Алешей. И он разлучил нас навсегда.

Глава девятая

Исключение из партии

В начале февраля мы вернулись в Казань, и я сразу узнала, что меня вызывают в райком партии. Почему Ярославский решил передать разбор моего «дела» опять в Казань – не знаю. Может, после моих дерзостей ему не хотелось больше со мной встречаться? А вернее всего – было общее решение передать дела об исключениях в низовые организации. Ведь таких дел с каждым днем становилось все больше. КПК уже не справлялся с объемом работы.

Это случилось седьмого февраля. Секретарь райкома – мой бывший слушатель по Татарскому коммунистическому университету Бикташев. Надо было видеть, какой гримасой боли искажалось его лицо, пока зачитывалось «дело». Я почти не помню, какие именно обвинения предъявлялись мне на этот раз, какие формулировки пришли теперь на смену последней московской редакции. Я почти не слушала. И я и все члены бюро райкома знали, что вопрос об исключении предрешен. И мне и им хотелось возможно сократить тягостную процедуру.

– Вопросы?

– Нет.

– Выступления?

– Нет.

– Может быть, вы хотите что-нибудь сказать, Е.С.? – хриплым голосом спрашивает Бикташев, не поднимая глаз, опущенных на лежащее перед ним «дело». Видно, как он боится, что я начну что-нибудь говорить. Неужели неясно, что он сам страдает, что он ничего не может?

Но я понимаю все, и я уже ничего не хочу говорить. Я тихонько иду к двери и только говорю шепотом:

– Решайте без меня...

Все мы знаем, что это нарушение устава, что в отсутствие члена партии нельзя выносить о нем решений. Но разве теперь до устава! И Бикташев только об одном спохватывается:

– А билет... он с вами?

И точно поперхнувшись, выкашливает:

– Вы оставьте его...

Пауза. Теперь мы с Бикташевым смотрим друг другу в глаза. Перед нами возникают одни и те же картины прошлого... Десять лет тому назад я, молоденькая начинающая преподавательница, учу его, полуграмотного татарского паренька, пришедшего из деревни. В том, что этот паренек стал секретарем райкома, немалая доля и моих усилий. Сколько их было – трудностей, радостей преодоления, исправленных тетрадок! Какими они были веселыми и любознательными – эти узкие монгольские глазки! И какие они тусклые и покрасневшие сейчас...

Все это проносится передо мной и – уверена! – перед ним. И голос его уже откровенно дрожит, когда он повторяет:

– Оставьте билет... пока...

В этом коротком «пока» выражена слабая попытка утешить, обнадежить. Оставь, мол, пока, а там получишь обратно. Ведь не навек же все эти дела!

Мне делается жалко моего бывшего ученика Бикташева, хорошего, любознательного парня. Ему сейчас хуже, чем мне. В этом театре ужасов одним актерам даны роли жертв, другим – палачей. Последним хуже. У меня хоть совесть чиста.

– Да, билет со мной.

Он еще новенький. Только в 1936-м был всесоюзный обмен партбилетов. Как я берегла его, как боялась потерять! Я кладу его на стол.

На улице, у дверей райкома дежурил мой муж. Пошли пешком. В трамвай нельзя было с такими лицами. Полдороги молчали. Потом он спросил:

– Ну что?

– Оставила билет...

Он тихо охнул. Теперь и ему уже было ясно, как близок край пропасти.

Глава десятая

Этот день...

Между исключением из партии и арестом прошло восемь дней. Все эти дни я сидела дома, закрывшись в своей комнате, не подходя к телефону. Ждала... И все мои близкие ждали. Чего? Друг другу мы говорили, что ждем отпуска мужа, который был ему обещан в такое необычное время. Получит отпуск – поедет опять в Москву, хлопотать. Попросим Разумова... Он член ЦК.

В душе отлично знали, что ничего этого не будет, что ждем совсем другого. Мама и муж попеременно дежурили около меня. Мама жарила картошечку. «Поешь, деточка. Помнишь, ты любила такую, когда была маленькой?» Муж, возвращаясь откуда-нибудь, звонил условным звонком и вдобавок громко кричал: «Это я, я, откройте». И в голосе его звучало: «Это еще я, а не они».

«Чистили» домашнюю библиотеку. Няня ведрами вытаскивала золу. Горели «Портреты и памфлеты» Радека, «История Западной Европы» Фридлянда и Слуцкого, «Экономическая политика» Бухарина. Мама «со слезами заклинаний» умолила меня сжечь даже «Историю новейшего социализма» Каутского. Индекс расширялся с каждым днем. Аутодафе принимало грандиозные размеры. Даже книжку Сталина «Об оппозиции» пришлось сжечь. В новых условиях и она стала нелегальщиной.

За несколько дней до моего ареста был взят второй секретарь горкома партии Биктагиров. Прямо с заседания бюро, которое он вел. Зашла секретарша.

– Тов. Биктагиров, вас там спрашивают.

– Во время заседания? Что они?... Я занят, скажите... Но секретарша вернулась.

– Они настаивают.

Он вышел. Ему предложили одеться и «проехать тут недалеко».

Этот арест озадачил и потряс моего мужа еще больше, чем мое исключение из партии. Секретарь горкома! Тоже «оказался»?

– Нет, это уж что-то чекисты наши перегнули. Придется им многих выпустить...

Он хотел убедить себя, что это проверка, какое-то недоразумение, временное и отчасти даже комичное. А вот в следующий выходной Биктагиров, возможно, будет снова сидеть в «Ливадии» за столом и с улыбкой рассказывать, как его чуть было не приняли за врага народа.

Но по ночам было очень плохо. Сколько машин проходило мимо окон нашей спальни, выходявших на улицу! И каждую надо было «прослушать», холодея, когда казалось, что она замедляет ход перед нашим домом. Ночью даже оптимизм моего мужа уступал место СТРАХУ, великому СТРАХУ, сжавшему горло всей страны.

– Павел! Машина!

– Ну и что же, Женюша? Город большой, машин много...

– Остановилась! Право, остановилась...

Муж босиком подскакивает к окну. Он бледен. Преувеличенно спокойным голосом он говорит:

– Ну вот видишь, грузовик!

– А они всегда на легковых, да?

Засыпали только после шести утра. А утром снова новые вести об «оказавшихся».

– Слышали? Петров-то оказался врагом народа! Подумать только – как ловко маскировался!

Это значило, что этой ночью увезли Петрова.

Потом приносили кучу газет. И уже нельзя было отличить, которая из них «Литературная», которая, скажем, «Советское искусство». Все они одинаково выли и кричали о врагах, заговорах, расстрелах...

Жуткие были ночи. Но это случилось как раз днем.

Мы были в столовой: я, муж и Алеша. Моя падчерица Майка была на катке. Вася у себя в детской. Я гладила белье. Меня часто тянуло теперь на физическую работу. Она отвлекала мысли. Алеша завтракал. Муж читал вслух книгу, рассказы Валерии Герасимовой. Вдруг зазвонил телефон. Звонок был такой же пронзительный, как в декабре тридцать четвертого.

Несколько минут мы не подходим к телефону. Мы очень не любим сейчас телефонных звонков. Потом муж произносит тем самым неестественно-спокойным голосом, которым он теперь так часто разговаривает:

– Это, наверное, Луковников. Я просил его позвонить.

Он берет трубку, прислушивается, бледнеет как полотно и еще спокойнее добавляет:

– Это тебя, Женюша... Веверс... НКВД...

Начальник секретно-политического отдела НКВД Веверс был очень мил и любезен. Голос его журчал, как весенний ручеек.

– Приветствую вас, товарищ. Скажите, пожалуйста, как у вас сегодня со временем?

– Я теперь всегда свободна. А что?

– О-о-о! Всегда свободна! Уже упали духом?... Все это преходяще. Так вы, значит, могли бы сегодня со мной встретиться? Видите ли, нам нужны кой-какие сведения об этом Эльвове. Дополнительные сведения. Ох и подвел же он вас! Ну, ничего! Сейчас все это выяснится.

– Когда прийти?

– Да когда вам удобнее. Хотите – сейчас, хотите – после обеда.

– А вы меня долго задержите?

– Да минут так сорок. Ну, может быть, час...

Муж, стоящий рядом, все слышит и знаками, шепотом настойчиво советует мне идти сейчас.

– Чтобы он не думал, что ты боишься. Тебе бояться нечего!

И я заявляю Веверсу, что приду сейчас.

– Может быть, забежать к маме?

– Не надо. Иди сразу. Чем скорее выяснится все это, тем лучше.

Муж помогает мне торопливо одеться. Я отсылаю Алешу на каток. Он уходит, не попрощавшись со мной... Больше я его уже не увидела.

По какому-то странному совпадению маленький Вася, привыкший к моим постоянным отъездам и отлучкам и всегда совершенно спокойно реагировавший на них, на этот раз выбегает в прихожую и начинает настойчиво допытываться:

– А ты, мамуля, куда? Нет, а куда? А я не хочу, чтобы ты шла...

Но мне сейчас нельзя смотреть на детей, нельзя целовать их. Иначе я сейчас, сию минуту умру. Я отворачиваюсь от Васи и кричу:

– Няня, возьмите ребенка! Я не могу его сейчас видеть...

Да, пожалуй, лучше не видеть и маму. Все равно – совершается неизбежное и его не умолишь отсрочками. Захлопывается дверь. Я и сейчас помню этот звук. Все. Больше я уже никогда не открывала эту дверь, за которой я жила с моими дорогими детьми.

На лестнице встретила Майка. Она шла с катка. Эта всегда все понимала интуитивно. Она не спросила ни слова, не поинтересовалась, куда мы идем в такое неурочное время. Прижалась плотно к стене и широко раскрыла глаза. Они были огромные, голубые. И такое недетское понимание горя и ужаса было на этом двенадцатилетнем лице, что оно снилось мне потом годами.

Внизу у входа встретила еще наша старая няня Фима. Она сбежала вниз, чтобы что-то сказать мне. Но посмотрела в мое лицо и ничего не сказала, только мелко перекрестила вслед.

– Пешком?

– Да, пройдемся напоследок.

– Не говори глупостей. Так не арестовывают. Просто им нужны сведения.

– У меня нет никаких сведений.

Долго идем молча. Погода прекрасная. Яркий февральский день. Снег выпал только утром. Он еще очень чист.

– Последний раз идем вместе, Паша. Я уже государственная преступница.

– Не говори таких глупостей, Женюша. Я уже говорил тебе. Если арестовывать таких, как ты, то надо арестовывать всю партию.

– Иногда у меня и мелькает такая безумная мысль. Уж не всю ли и собираются арестовывать?

Я уже жду привычной реакции мужа. Он должен сейчас прикрикнуть на меня за такие кощунственные слова. Но вдруг... Вдруг он раздражается «еретической» речью. Выражает уверенность в честности многих арестованных «врагов народа», произносит гневные слова по адресу... По очень высоким адресам. И я рада, что мы опять мыслим одинаково. Я воображала тогда, что поняла уже почти все. А на деле меня ждало еще много горестных открытий. Но вот и знаменитый дом – Черное озеро.

– Ну, Женюша, мы ждем тебя к обеду...

Какое жалкое лицо у него сразу, как дрожат губы! Вспоминается его старый уверенный хозяйский тон старого коммуниста, партийного работника.

– Прощай, Паша. Мы жили с тобой хорошо...

Я даже не говорю «береги детей». Я знаю, что он не сможет их сберечь.

Он снова успокаивает меня какими-то общими словами, которых я уже не различаю. Я устремляюсь к бюро пропусков, но вдруг слышу срывающийся голос.

– Женюша!

Оглядываюсь.

– До свидания, Женюшенька!

И взгляд... Пронзительный взгляд затравленного зверя, измученного человека. Тот самый взгляд, который потом так часто встречался мне ТАМ.

Глава одиннадцатая

Капитан Веверс

Я открыла двери очень смело. Это была настоящая храбрость отчаяния. Прыгать в пропасть лучше с разбега, не останавливаясь на ее краю и не оглядываясь на прекрасный мир, оставляемый навсегда.

Но будничная казенная неторопливость, с какой мне оформляли пропуск, обозначенное на нем время моего прихода и рядом пустое место, на котором должно было быть отмечено время моего ухода отсюда, – все это на какой-то момент вселило в меня мимолетную надежду: может, и впрямь ему надо только расспросить меня про Эльвова?

Поднимаюсь на второй, потом на третий этаж. По коридорам деловито проходят люди, из-за застекленной двери раздается треск пишущих машинок. Вот какой-то молодой человек, где-то виденный, даже рассеянно кивнул и обронил «здрасьте». Самое обыкновенное учреждение!

И я уже теперь совсем спокойно поднимаюсь на четвертый этаж и на секунду останавливаюсь у двери комнаты № 47. Стучу и, не расслышав ответа, переступаю порог. И сразу сталкиваюсь со взглядом Веверса. Глаза в глаза.

Их бы надо в кино крупным планом показывать, такие глаза. Совсем голые. Без малейших попыток маскировать цинизм, жестокость, сладострастное предвкушение пыток, которым сейчас будет подвергнута жертва. К этому взгляду не требовалось никаких словесных комментариев.

Но я еще сопротивляюсь. Я продолжаю делать вид, что считаю себя по-прежнему человеком, коммунистом, женщиной. Я вежливо здороваюсь с ним и, не дождавись предложения сесть, с удивлением спрашиваю:

– Можно сесть?

– Садитесь, если устали, – пренебрежительно роняет он. На лице его та самая гримаса – смесь ненависти, презрения, насмешки, которую я потом сотни раз видела у других работников этого аппарата, а также у начальников тюрем и лагерей. Эта гримаса, как потом выяснилось, входила в программу их профессиональной подготовки, и они ее репетировали перед зеркалом. Но тогда, столкнувшись с ней впервые, я была уверена, что она выражает персональное отношение Веверса ко мне.

Несколько минут проходят в полном молчании. Потом он берет чистый лист бумаги и пишет на нем крупно, медленно, чтобы мне было видно: «Протокол допроса»... Потом вписывает мою фамилию по мужу. Я поправляю его, называя мою отцовскую фамилию.

– Что, бережете его? Не поможет...

Он снова поднимает на меня глаза. Сейчас они уже налиты серой, тягучей скукой.

– Ну-с, так как же ваши партийные дела?

– Вы ведь знаете. Меня исключили из партии.

– Еще бы! Предателей разве в партии держат?

– Почему вы бранитесь?

– Бранитесь? Да вас убить мало! Вы – ренегат! Агент международного империализма!

Шутит он, что ли? Неужели такое можно всерьез? Нет, не шутит. Распаляя себя все больше, он орет на всю комнату, осыпая меня ругательствами. Правда, это еще пока только политические оскорбления. Ведь это только февраль 1937-го. К июню он уже будет угощать арестованных самой отборной площадной руганью.

Он заканчивает длинный период ударом кулака по столу. Стекло на столе звенит. Под аккомпанемент этого дискантового звука на меня обрушивается как заключительный аккорд двухлетней пытки короткая фраза:

– Надеюсь, вы поняли, что вы арестованы?

Зеленые с золотом круги на обоях веверсовского кабинета понеслись вскачь перед моими глазами. Качнулся и сам кабинет.

– Незаконно! Я не совершала никаких преступлений, – еле ворочая сухим языком, произношу я.

– Что? Незаконно! А это что? Вот санкция прокурора на ваш арест. Пятым февраля датирована. А сегодня пятнадцатое. Все руки не доходили. Мне уже сегодня звонили из одного места. Что это, говорят, у вас враги народа свободно по городу разгуливают?

Я встаю и делаю шаг по направлению к телефону.

– Дайте мне возможность сообщить домой.

Он весело хохочет.

– Уморите вы меня! Да разве заключенным разрешаются телефонные разговоры?

– Тогда сами позвоните.

– Успеется. Аксенова это не так уж и интересует. Он ведь от вас уже отказался. Нечего сказать, пикантно! Член правительства, член бюро обкома – и такая жена! Да сейчас не в этом дело. Надо протокол заполнить. Отвечайте на мои вопросы.

Он что-то пишет, потом прочитывает мне вопрос:

– Следствию известно, что вы являлись членом подпольной террористической организации при редакции газеты «Красная Татария». Подтверждаете ли вы это?

– Это бред! Никакой организации не было. Нигде я не состояла.

– Молчать!

Снова удар кулаком и жалобный дискантовый отзвук стекла.

– Вы мне этот дамский тон бросьте! Отгуляли в дамах. Теперь за решетку!

– Разве вы имеете право кричать и стучать на меня? Я требую встречи с начальником управления, с товарищем Рудь.

– Ах, вы требуете? Ну, мы вам покажем требования!

Он нажимает кнопку звонка. Появляется женщина в форме тюремной надзирательницы.

– Обыскать!

Я еще совсем неопытная заключенная. Все мои сведения о тюремных порядках исчерпываются воспоминаниями старых большевиков да книгами о «Народной воле». Поэтому я не только с омерзением, но и с удивлением слежу за движениями этих бесстыдных рук, шарящих по моим карманам, скользкими улиточными ползками пробегающих по моему телу.

Личный обыск закончен. Из орудий террора обнаружены случайно оказавшиеся в сумочке маленькие ножницы для маникюра.

Капитан Веверс нажимает другую кнопку. Появляется конвоир – мужчина. Веверс снова с ненавистью и презрением в упор смотрит на меня своими свинцовыми глазами.

– А теперь в камеру! В подвал! И будете сидеть до тех пор, пока не сознаетесь и не подпишете все!

Глава двенадцатая

Подвал на Черном озере

Черное озеро – это, собственно, название одного из городских садов в Казани. Когда-то, до революции, это было излюбленное место разгульных купчиков. Здесь был дорогой ресторан, эстрадный театр. Сейчас территория сада использовалась для различных выставок, а зимой здесь был каток.

Но после того как областное управление НКВД переселилось на Черноозерскую улицу, прямо против сада, название «Черное озеро» перестали относить к саду. Слово приобрело тот же смысл, что «Лубянка» для Москвы.

– Не болтай, а то на Черное озеро попадешь!

– Слышали, его ночью на Черное озеро увезли?

Подвал на Черном озере. Это словосочетание вызывало ужас. И вот я иду в сопровождении конвоира в этот самый подвал. Сколько ступеней вниз? Сто? Тысяча? – не помню. Помню только, что каждая ступенька отдавалась спазмами в сердце, хотя в сознании вдруг мелькнула почти шутливая мысль: вот так, наверно, чувствуют себя грешники, которые при жизни много раз, не вдумываясь, употребляли слово «ад», а теперь, после смерти, должны воочию этот ад увидеть.

Тяжелая железная дверь скрипит очень громко. Но это еще только преддверие ада. Прокуренное помещение без окна, освещенное лампочкой, висящей под потолком. За столом – бледный человек в форме тюремного надзирателя. У него тяжелые набрякшие мешки под глазами, а глаза оскорбительно равнодушные, как у маринованного судака. Он смотрит на меня как на пустое место. Единственное, что его интересует во мне, – это мои часы. Пояса у меня ведь нет, я женщина. А назначение этого пункта – изъятие часов и поясов у новых заключенных. Чтобы не знали, который час, и чтобы не на чем было повеситься. Часы мои ему нравятся. Они у меня красивые, заграничные. Муж подарил, после того как потеряли тогда в сугробе старые. Он одобрительно разглядывает часы, и в его судачьих глазах мелькают живые искорки. Потом он приступает к заполнению анкеты. Оказывается, анкета требуется даже для входа в ад. Затем они обмениваются короткими репликами, смысл которых сводится, по-видимому, к вопросу о том, в какую камеру меня отвести.

А вот и сам ад. Вторая железная дверь ведет в узкий коридор, тускло освещенный одной лампочкой под самым потолком. Лампочка горит особым тюремным светом, каким-то багрово-красным накалом. Справа сырая, серая, в подтеках стена. Трудно допустить, что это одна из стен того самого дома, где расположен комфортабельный кабинет капитана Веверса... А слева...

Слева двери, двери, двери... Они заперты на засовы и огромные ржавые замки. Висячие, первобытные, какими, наверное, до революции закрывались какие-нибудь купецкие амбары в глухой провинции. А за этими дверьми люди? Конечно же! Коммунисты, товарищи мои, попавшие в ад раньше меня. Профессор Аксенцев, секретарь горкома Биктагиров, директор университета Векслин... И еще многие...

Холодное, разлившееся в груди отчаяние делает меня внешне абсолютно спокойной. Внутренне я подготовлена к одиночке. Поэтому, когда открывается со страшным громом и звоном одна из дверей, на которой написан номер 3, и я вижу силуэт человеческой фигуры внутри камеры, я воспринимаю это как неожиданный подарок судьбы. Значит, я буду не одна? Это уже счастье.

Дверь снова с тем же грохотом закрывается, шаги гулко удаляются в сторону, и я произношу спокойным голосом, обращаясь к стоящей у стены молодой женщине:

– Здравствуйте, товарищ!

Она еще несколько секунд продолжает стоять у стены в той же позе, в которой я ее застала. Она красива, одета в дорогое изящное котиковое пальто, на фоне которого эффектно выделяются ее золотистые волосы. Потом она вглядывается в меня внимательно, тревожно, как бы ища в моем лице ответа на какой-то вопрос, затем грустно улыбается и говорит:

– Здравствуйте. Садитесь вот сюда, на табуретку. Пальто не снимайте. Здесь холодно... Вы так спокойны... У вас, наверное, дома никто не остался?

– Дети... Трое детей. Два родных сына и падчерица. Маленькому четыре с половиной года.

– Несчастье-то какое! Бедная вы моя!

Она стремительно приближается ко мне, приседает на корточки и опять устремляет прямо в мои глаза тот же пытливый взгляд.

– О чем вы хотите спросить меня?

Секунду она колеблется, потом берет меня за обе руки и, смеясь, говорит:

– И спрашивать не буду. Сама вижу. Вы хорошая. Дело в том, что я все время боюсь, как бы ко мне шпионку не подсадили, которая будет меня выспрашивать, чтобы я на себя наговаривала и на папу. Папа ведь мой тоже здесь сидит. И брат... А мама совсем одна осталась. Больная. У нее руки покалечены после нападения хунхузов.

Я пока еще ничего не понимаю. То, что говорит эта молодая женщина, так далеко от моего замкнутого мирка научной и литературной партийной интеллигенции. Заграничница, что ли? Что это она говорит про хунхузов? Но ответное чувство симпатии возникает во мне. Это красивое простодушное лицо, прямо смотрящие карие глаза не могут принадлежать плохому человеку. И я пожимаю протянутые мне тонкие руки. Говорю успокоительно:

– Нет, я не шпионка. Я ни о чем не буду вас спрашивать. Вы можете мне ничего о себе не рассказывать, если не хотите. А я вам о себе расскажу все. Чтобы вы меня не боялись. Ведь мы вместе в таком страшном несчастье... Меня зовут Женей. Зовите меня так, хоть вы и моложе меня. А вас как?

Ее звали Ляма Шапель. Настоящее ее имя было Лидия, но за ней закрепилось то имя, которым она сама называла себя в младенчестве.

– Я кавежединка.

– Кто?

Я явно не знала ни такой профессии, ни такой национальности. Пройдет еще несколько месяцев, и я столкнусь в Бутырской тюрьме с десятками людей, называющих себя этим страшным словом. Короче – это были русские люди, по большей части квалифицированные рабочие, служившие на Китайско-Восточной железной дороге и приехавшие на Советскую Родину после того, как дорога была нами продана. Многие из них прожили там по многу лет и возвращались на родину с чувством глубокого волнения, любви и желания хорошо поработать. Почти все они были арестованы как шпионы, всем предъявлялись чудовищные обвинения в том, что они якобы «завербованы» японской или маньчжурской разведкой.

Ляме было двадцать два года. Она окончила гимназию в Харбине и работала машинисткой в железнодорожной конторе. Отец ее был старым железнодорожником. Брат старше ее на несколько лет, сочувствовал коммунистам, подвергался репрессиям в Маньчжурии, приехал на несколько лет до всей основной семьи в СССР и поселился под Казанью в промышленном городке Зеленодольске. Ляма с отцом и матерью приехали к нему только после продажи КВЖД, несколько месяцев назад. Уже месяц, как ее, отца и брата арестовали. Всех обвиняют в шпионаже.

– Целый роман сочинили! Не переживет папа. Сердце у него слабое. А мама, я уже говорила вам, не сможет себе на хлеб заработать. Ее хунхузы изуродовали, пальцы на руках перебили.

То, что я рассказала Ляме о себе, было выше ее понимания. При всех моих педагогических навыках я никак не могла втолковать этому детищу другого мира, в чем именно меня обвиняют. Все наши «потери бдительности», «примиренчество», «гнилые либерализмы» звучали для нее китайской грамотой, вернее абракадаброй, так как в китайской-то грамоте она как раз неплохо разбиралась. Зато она уже была опытной заключенной и сразу ввела меня во все подробности предстоящего мне существования.

– Сейчас скоро уже ужин, а там и койки спускать будут. Хоть бы ночью на допрос вас не вызвали, дали бы отдохнуть после первого потрясения...

Тут только я заметила, что две железные койки подняты к стене на крючках. Спускать их разрешалось с одиннадцати до шести утра по специальному сигналу. В шесть – подъем, и до одиннадцати лежать нельзя. Только стоять или сидеть на табуретках.

– Сегодня хороший дежурный, всегда больше каши дает. А у того, косоглазого, с голоду умереть можно... На opravку сегодня, наверно, после ужина пойдем. Сегодня с той стороны начали.

Скоро из коридора начали доноситься какие-то ритмические постукивания, сливающиеся с грохотом открываемых замков. Постепенно в камеру просочился тошнотворный запах тухловатой вареной рыбы. Даже на фоне всепроникающего запаха сырости и параши эта рыбная вонь вызывала отвращение.

Я с удивлением наблюдала, как изящная, красивая Ляма с аппетитом уничтожила сначала свою, а потом и мою порцию этой рыбы и сухой овсяной каши.

– Я не отказываюсь от вашей порции сегодня, знаю, что в первые дни не едят.

После еды Ляма встала у дверей, и как только раздался краткий возглас «Посуду!» и чуть приоткрылась тяжелая дверь, она поставила посуду прямо на пол.

– Из рук в руки мы им ничего не имеем права передавать.

После ужина повели на «оправку». Идти по коридору надо было гуськом, в абсолютном молчании. Уборная помещалась в самом конце коридора, и мы прошли мимо всех камер. Я жадно впивалась взглядом в каждую дверь, точно можно было через ее толщу увидеть томящихся в камерах людей.

Ляма заботливо вводила меня во все тонкости устава этого монастыря и инструктировала насчет способов, которые применялись для обмана надзирателей и следователей.

– Встаньте спиной к двери, быстро! – свистящим шепотом бросила она мне, как только мы остались вдвоем в уборной. Потом мгновенным движением она рассыпала по кургузой деревянной полочке над умывальником немного зубного порошка и так же мгновенно написала зубной щеткой на образовавшемся белом фоне мои инициалы.

– Те, кто пойдет после нас, прочтут и, может быть, догадаются, если они казанцы, что это вы. Передадут соседям. Связь установить – самое главное.

– А как передадут?

– Стучат.

– Вы умеете?

– Учусь. Сосед каждый день учит после обеда, когда смена дежурных. Вот что: когда пойдем обратно в камеру, старайтесь четко и легко отстукивать каблуками, чтобы было ясно, что походка женская. А проходя мимо пятой, покашляйте. Там, кажется, кто-то из крупных казанских партработников сидит. Может, узнает вас...

Окно камеры кроме толстой решетки загорожено еще высоким деревянным щитом, позволяющим видеть только крохотный кусочек неба.

– Темно здесь днем? Читать нельзя?

Ляма улыбается моей наивности.

– Темно, конечно. Подвал, да еще досками окно забито... А насчет чтения не беспокойтесь. Читать здесь не разрешают...

Ляма переходит на самый тихий шепот:

– Посмотрите внимательно на наш щит на окне. Ничего не замечаете?

Нет, я решительно ничего не замечаю. Решетки... Доски... Мир закрыт. Но, оказывается, вот она, крохотная щель в этот мир. Между второй и третьей доской просвет примерно в палец шириной.

– Только бы не заметили они. А так, раз нас теперь двое, мы в эту щель во время прогулок все камеры пересмотрим и узнаем, кто где сидит. А там и связь наладить можно. Это самое главное. Чтобы знать, кого о чем спрашивали и кто что ответил. А то ведь они так врут, следователи, так врут...

И намолчавшаяся за месяц одиночества Ляма долго, до самого «отбоя», горячим шепотом рассказывает мне обо всем: и о коварстве следователей, и о каких-то давнишних пикниках на китайской реке Сунгари, и о том, как жалко пропадающих вещей. «Особенно вот эту шубку. Котик натуральный, теперь век такую не справишь, а истрепала здесь совсем, ведь и парашу носишь, и в сырости сидишь...»

Я усердно слушаю ее, полная сочувствия и даже какого-то странного чувства стыда перед этой милой девушкой из незнакомого мне мира. Хоть я и сижу рядом с ней, но мне еще кажется, что я как коммунистка несу ответственность за то, что так горячо ожидаемая страна отцов встретила Ляму, веселую,мышленную, хорошую русскую девушку, вот этой камерой.

Отбой. Потрясающий лязг спускаемых железных коек наполняет весь подвал дьявольской музыкой. Разглядываю свое новое ложе. Я пока еще очень брезглива, и я старательно прикрываю соломенную подушку в серой наволочке своим кашне и носовым платком. Ляма утешает:

– Может, вам передачу разрешат...

Ложимся. Ляма засыпает со счастливой улыбкой. Перед сном она говорит мне:

– Спокойной ночи, милая Женечка! Как я рада, что вы со мной! Только теперь я вижу, как страшно было одной целый месяц. Ой, дура, что я сказала-то! Как глупо! Рада! Не тому, конечно, рада, что вы арестованы, а тому, что попали в мою камеру. Вы ведь понимаете, да?

Я все понимаю. Вернее, я уже ничего не понимаю. Этот день вместил в себя слишком много. Я закрываю глаза, и передо мной несутся видения: то лица моих детей, то затравленный последний взгляд мужа, то раскаленные очи Веверса, то «маринованный судак», разглядывающий мои часы, то китайская речка Сунгари, по которой плывут лодки со странными людьми. Они из племени кавежединцев. Какое нелепое название... Ляма... Еще несколько часов тому назад я не знала о ее существовании. Сейчас она как сестра мне...

Я уже почти погружаюсь в тряский и неверный тюремный сон, полный кошмаров. Но спать в эту первую тюремную ночь мне не было суждено. Снова гром, лязг засовов и замков и чей-то скучный, нарочито тихий голос:

– Приготовьтесь на допрос!

Глава тринадцатая

Следствие располагает точными данными

Я часто думала о трагедии людей, руками которых осуществлялась акция тридцать седьмого года. Каково им было! Ведь не все они были садистами. И только единицы нашли в себе мужество покончить самоубийством.

Шаг за шагом, выполняя все новые очередные директивы, они спускались по ступенькам от человека – к зверю. Их лица становились все более неопишными. По крайней мере, я не могу найти слов, чтобы передать выражение лиц тех, кто стал уже Нечеловеком.

Но все это постепенно. А в ту ночь следователь Ливанов, к которому меня вызвали, выглядел самым обыкновенным служащим с легкой склонностью к бюрократизму. Спокойное сытое лицо, аккуратный почерк, которым он уже заполнил левую сторону протокола (вопросы), немного обывательские, чисто казанские интонации и даже отдельные словечки. Он говорил «ужо» вместо «потом», «давеча» вместо «раньше». Это напоминало няню Фиму и вызывало целый комплекс домашних чувств.

На минуту снова мелькнула надежда, что безумие может кончиться. Оно, безумие, осталось там, внизу, где лязг замков, налитые страданием глаза золотоволосой девушки с реки Сунгари. А здесь – обычный мир нормальных людей. Вон она звякает за окном трамваями, знакомая старая Казань. И окно здесь не с решеткой и деревянным козырьком, а с красивой гардиной. И тарелка, оставшаяся от ужина следователя Ливанова, стоит не на полу, а на тумбочке, в углу кабинета.

Может быть, он вполне порядочный человек, этот спокойный Ливанов, медленно записывающий мои ответы на ничего не значащие, почти анкетные вопросы: с какого года работала там-то и там-то, когда познакомилась с тем-то и тем-то... Но вот страница исписана, и следователь дает мне подписать ее.

Что это? Он только что задавал мне вопрос, с какого года я знакома с Эльвовым, и я ответила – «с 1932-го». А здесь написано: «С какого года вы знакомы с ТРОЦКИСТОМ Эльвовым?» И мой ответ: «ТРОЦКИСТА Эльвова я знаю с 1932-го».

– Я так не говорила.

Следователь Ливанов смотрит на меня с таким недоумением, точно дело идет и впрямь о точности формулировки.

– Но ведь он же троцкист.

– Я этого не знаю.

– Зато мы знаем это. Мы установили. Следствие располагает точными данными.

– Но я не могу подтвердить то, чего не знаю. Вы можете меня спрашивать, когда я познакомилась с ПРОФЕССОРОМ Эльвовым. А троцкист ли он и знала ли я его как троцкиста – это уже другой вопрос.

– А вопросы, извините, ставлю я. Вы не имеете права диктовать мне формулировки. Вы только отвечаете.

– В таком случае запишите мой ответ не своими словами, а точно так, как я его формулирую. Кстати, почему нет стенографистки? Это было бы самое точное.

Эти мои рекордные по наивности слова покрываются вдруг раскатами хохота. Хохотал, конечно, не Ливанов. Это в комнату вновь вошло само Безумие в лице лейтенанта госбезопасности Царевского.

– А-а-а... Сидите уже за решеткой? А давно ли в нашем клубе доклад о Добролюбове делали? А? Помните?

– Помню. Это было действительно глупо. К чему вам Добролюбов!

Смысл реплики не доходит до этого взлохмаченного сухопарого парня с лицом маньяка.

– Так, стало быть, стенографистку требуете, ни больше ни меньше? Юмори-и-стка! Кажется, снова в редакции себя вообразили?

Он быстрыми скачущими шагами подходит к столу, пробегает глазами протокол, потом поднимает взгляд на меня. Его глаза отличаются от глаз Веверса тем, что в них, наряду с упоением палачества, живет какая-то темная тревога, какой-то подспудный ужас.

– Итак, сидите уже за решеткой? – снова издевательски обращается он ко мне с интонацией такой острой ненависти, точно я убила его ребенка или подожгла его дом. Потом продолжает уже более спокойно: – Вы понимаете, конечно, что ваш арест согласован с обкомом? Все раскрыто. Эльвов вас выдал. Да и муж ваш, Аксенов, тоже уже арестован и все рассказал. Он тоже троцкист.

Я мысленно сопоставляю это заявление со словами Веверса об отказе Аксенова от «такой жены». Да, Ляма была права. Врут они страшно.

– А разве Эльвов здесь?

– Да! Рядом с вами, в соседней камере. И все подписал против вас.

– Тогда дайте мне очную ставку с ним. Я хочу услышать, что он сказал обо мне. Пусть повторит в глаза.

– Ах, повидаться с дружкой захотелось?

И он отпускает гнусную циничную фразу. Впервые в жизни я слышу такое по отношению к себе.

– Как вы смеете! Я требую, чтобы меня провели к начальнику управления. Здесь советское учреждение. Здесь никто не имеет права издеваться над человеком.

– А враги народа для нас не люди. С ними все позволено. Тоже мне люди!

И он снова раздражается грязным гоготаньем. Потом он орет на меня во всю силу легких, стучит по столу точно таким движением, как Веверс, грозит мне расстрелом. Он требует, чтобы я подписала протокол.

С удивлением вижу, что спокойный, вежливый Ливанов взирает на это беснование с полным равнодушием. Для него это, видимо, привычное дело.

– Почему вы разрешаете вмешиваться в следствие, которое ведете вы? – спрашиваю я его. Ливанов улыбается почти добродушно.

– Да ведь Царевский прав. Чистосердечное раскаяние облегчит ваше положение. Запирательство бесполезно. Ведь следствие располагает точными данными.

– Какими?

– О вашей контрреволюционной деятельности в подпольной организации, возглавлявшейся Эльвовым. Подпишите лучше протокол. Тогда к вам будет вежливое, спокойное отношение. Передачу разрешим. Свидание с детьми и мужем.

Пока говорит Ливанов, Царевский выдерживает паузу, чтобы с новыми силами наброситься на меня снова. После трех-четырех часов такой комбинированной обработки я окончательно убеждаюсь, что приход Царевского, принятый мной за случайность, – часть продуманной методики.

Синий февральский рассвет уже холодеет в проеме окна, когда наконец появляется вызванный звонком Царевского конвоир. Вслед мне несутся те же слова, которыми проводил меня накануне капитан Веверс. Только голос Царевского чаще срывается на фальцет.

– В камеру! И будете сидеть до тех пор, пока не подпишете!

Спускаясь по лестнице в подвал, я ловлю себя на том, что тороплюсь в камеру. Там, оказывается, лучше. Там на меня смотрят человеческие глаза товарища по несчастью. И грохот замков лучше, чем визги иступленных Нечеловеков.

Глава четырнадцатая

Кнут и пряник

За неделю я уже так основательно изучила все порядки, что, идя на допрос впереди конвоира, не ждала его указаний, а сама поворачивала все направо, к кабинету Ливанова, где иногда вместо него ждал меня Царевский, а иногда оба сразу. Поэтому я была поражена, когда, дойдя до второго этажа, услышала вдруг позади себя приглушенный, но отчетливый голос конвоира:

– Налево!

Новый кабинет был гораздо комфортабельнее ливановского. Широкие зеркальные окна были почему-то не задернуты гардинами, и я не смогла сдержать легкого возгласа изумления и восторга, увидав в этих окнах, как на экране, каток Черного озера. Цветные лампочки украшали его праздничными гирляндами. Мне виден был сидящий на возвышении духовой оркестр и мелькающие фигуры конькобежцев.

На секунду я замираю, не в силах оторваться от этого зрелища. Неужели такое еще существует на свете? На этом свете, где есть стоячие карцеры и «особые методы», которыми мне ежедневно угрожают.

– Красиво, правда? – раздается вдруг так называемый «бархатный» баритон.

Только тут я замечаю невысокую коренастую фигуру военного, стоящего у бокового окна.

– Сегодня праздник, День Красной Армии. Большое соревнование конькобежцев, – объясняет он таким голосом, точно мы сидим за чайным столом. И совсем уже задушевно добавляет: – Ваши старшенькие тоже, наверно, здесь? Алеша и Майя... Они ведь катаются на коньках?

Не галлюцинация ли это? Кто произнес в этих стенах имена моих детей? И я не выдерживаю. Сколько раз давала себе слово, что «они» не увидят моих слез. Но сейчас удар нанесен уж очень неожиданно. И слезы льются градом.

– О-о-о... Простите, расстроил вас. Да вы садитесь, пожалуйста. Вот сюда, в кресло, здесь удобнее.

Мой собеседник совсем не похож на «тех». Скорее, он напоминает покинутый университетский мир. Светлые глаза смотрят сочувственно. Он заводит со мной непринужденную беседу, совсем как будто не связанную с моим «делом». О жизненном призвании. Он уверен, что я сделала ошибку, выбрав путь педагога, научного работника.

– Вы же прирожденный литератор. Дали мне вчера вырезки с вашими газетными статьями...

Я еще пока не понимаю, к чему все это. Но скоро все выясняется.

– Такая порывистая эмоциональная натура. Немудрено, что вы поддались на ложную романтику этого гнилого подполья...

Майор Ельшин выжидательно смотрит на меня. Но я уже стала учена за эту неделю. Я твердо знаю теперь, что никакие страстные оправдания никому ничего не доказывают, только дают пищу для новых издевательств. Поняла, что «молчание – золото», что отвечать надо только на прямо поставленные вопросы, и то возможно короче.

– Да-а... – продолжает майор. – Все мы были молоды, все увлекались, все могли ошибиться.

Тьфу ты, черт! Неужели он думает, что я не читала романов и повестей из истории революционного движения! Ведь в них все жандармские ротмистры именно этими самыми словами увещевали молодых студентов-террористов.

– Не курите? – любезно раскрывает он портсигар и продолжает, как бы рассуждая сам с собой. – Романтика... Огюст Бланки... Степняк-Кравчинский... Помните «Домик на Волге»?

Заметно, что майор очень доволен случаем проявить такую блестящую эрудицию. Он вдохновляется и произносит целую небольшую речь – минут на десять, – смысл которой сводится к тому, что я веду себя неправильно. Я ведь не в гестапо попала. Это там были бы уместны гордое молчание, отказ от подписывания протоколов, нежелание назвать сообщников. А здесь ведь я в своей тюрьме. Он уверен, что в душе я осталась коммунисткой, несмотря на допущенные тяжелые ошибки. Надо разоружиться, стать перед партией на колени и назвать имена тех, кто толкнул порывистую эмоциональную натуру на участие в гнилом подполье. А потом вернуться к детям. Кстати, они мне кланяются. Майор вчера только беседовал по телефону с товарищем Аксеновым. Этот честный коммунист мучительно страдает, узнавая, что его жена все углубляет свои ошибки неправильным, прямо несоветским – уж майор скажет напрямик – поведением...

Молчу как убитая, стараясь глядеть в угол, поверх головы майора. Он неправильно истолковывает мой взгляд, относя его к тарелке с бутербродами, стоящей на тумбочке в углу.

– Простите, не догадался вам предложить. Пожалуйста. Может быть, вы проголодались? Вы немного бледны. Впрочем, это вам идет. Такая интересная женщина. Немудрено, что этот Эльвов потерял голову, не так ли?

Горка бутербродов с нежной розовой ветчиной и слезящимся швейцарским сыром вырастает передо мной.

Проголодалась ли я? Всю эту неделю я почти ничего не ела, кроме куска черного хлеба с кипятком, – не в силах преодолеть брезгливость к тюремным мискам, к вонючей рыбе.

– Спасибо. Я сыта.

– Ай-ай-ай! Вот и это плохо. Считаете нас врагами? Не хотите из наших рук принимать пищу?

Снова молчу, стараясь теперь не глядеть не только на майора, но и на бутерброды. Тогда он с кротким вздохом убирает их со стола и кладет на их место несколько листов писчей бумаги и автоматическую ручку.

– Напишите нам все. Все, что было, с самого начала. Я пока займусь своими делами, а вы пишите. Как можно подробнее. Оттените главных заправил. Напишите, кто из редакционных и университетских был особенно активен в нападках на линию партии. Да и в среде татарских писателей... Да уж не мне учить вас писать.

– Боюсь, майор, что это не мой жанр.

– Почему же?

– Да вы ведь сами говорили, в каких жанрах я пишу. Публицистика. Переводы. А вот жанр детективного романа – не мой. Не приходилось. Вряд ли смогу сочинить то, что вам хотелось бы.

Майор Ельшин криво усмехается, но продолжает оставаться любезным. По-видимому, его ампула строго ограничено «пряником» и кнут ему применять не положено.

– Пишите. Посмотрим, что выйдет у вас.

– Что же писать об университетских? Ведь они все уже арестованы, – пытаюсь я выудить у своего любезного собеседника какие-нибудь сведения.

– Почему же все? Вот, например, профессор Камай. Кто же его арестует? Не за что! Бывший грузчик, татарин, ставший профессором химии. Преданный член партии.

– Да, это, наверно, последний остался профессор из грузчиков. Теперь вы больше профессором на грузчиков переделываете.

Терять мне уже нечего – теперь я убеждена в этом – и потому изредка позволяю себе немного дерзить.

– Ай-ай-ай, – по-отечески журит меня майор Ельшин, – ну, сами скажите, разве от этой вашей шуточки не отдает троцкистским душком? Разве не взята она из гнилого арсенала троцкистского оружия?

Пожалуй, бумагу и перо надо использовать. И я пишу. Пишу подряд четыре часа заявление на имя начальника управления НКВД, которого я еще здесь не видела, но с которым познакомилась еще до ареста на одном из партактивов. Пишу о недопустимых приемах следствия, об угрозах и бессонных ночах, о Царевском и Веверсе. Прошу очной ставки с Эльвовым, свидания с мужем. Описываю весь ход своего «дела» сначала в партийных инстанциях, потом в подвале. Заканчиваю заявлением, что я твердо решила не лгать партии и не приписывать себе, а тем более другим коммунистам фантастические злодеяния, измышляемые следователями в неизвестных мне целях.

Майор Ельшин уже очень устал. Через два примерно часа он звонит куда-то, и на смену ему приходит... все тот же Царевский. Именно ему и приходится сдать написанное мною заявление.

Он приходит в исступление: брызжет слюной, изрыгает ругательства, хватается за револьвер. Но я знаю, что убивать им запрещено, тем более что следствие еще не закончено. Об этом мне подробно рассказала Ляма, мой милый тюремный инструктор.

И я молчу. Молчу и мечтаю о своей камере. Но он держит меня до самого подъема, до шести утра.

Позднее я узнала, какой счастливый номерок мне достался в этой лотерее. Ведь мое следствие кончилось еще в апреле, то есть до того, как Царевские и Веверсы получили право не только изрыгать непотребные ругательства, но и пытаться физически, надругаться над телами своих жертв.

Глава пятнадцатая

Ожившие стены

Меня вдруг перестали вызывать на допросы. Шли дни за днями, тюремные будни обрели некий ритм, определяемый выдачей кипятка, пятнадцатиминутной прогулкой в тюремном дворе под двумя взятыми наперевес штыками, обедом, «оправкой». Следователи как будто забыли о моем существовании.

– Это они нарочно, – говорила Ляма, – меня вот уже три недели не вызывали. Это чтобы человек осатанел от тюрьмы и начал с отчаяния подписывать всякую галиматью.

Но я была так истерзана первым знакомством с черноозерским «правосудием», что была рада этой передышке.

– А мы давайте не осатанеем, Ляма. Даже используем это время для изучения обстановки. Сами же вы говорили, как важно завязать связи. Ведь он все стучит, правда?

Да, он все стучал, наш сосед слева, каждый день после обеда. Но, замученная допросами, я еще как следует не прислушалась к стуку. А Ляма приходила в отчаяние от непостижимости тюремной азбуки.

Постепенно мы установили одну закономерность: в те дни, когда наш сосед слева ходил «на оправку» раньше нас, – а это мы безошибочно определяли по шагам в коридоре, – в уборной, на полочке для мыла, по рассыпанному тонким слоем зубному порошку обязательно было выдвинуто чем-то тоненьким, может быть булавкой, – «Привет!». И как только мы возвращались в камеру, сосед сейчас же выстукивал нам в стену что-то короткое, лаконичное и немедленно замолкал. Эти стучки отличались от его длительных послеобеденных передач, которыми он старательно пытался обучить нас азбуке.

Так повторялось несколько раз, и наконец меня осенило.

– Привет! Он выстукивает привет! И пишет и выстукивает одно и то же слово. Теперь, когда мы знаем слово, мы ведь можем сообразить, как обозначаются входящие в него буквы.

Подсчитали.

– Поняла! – восторженно прошептала Ляма. – Каждая буква обозначается двумя видами стуков – отдельными и частыми. Всего он простучал шесть букв. Да? Шесть? То есть – п-р-и-в-е-т!

Впоследствии, сидя в тюрьмах долгими месяцами и даже годами, я имела возможность наблюдать, до какой виртуозности доходит человеческая память, обостренная одиночеством, полной изоляцией от всех внешних впечатлений. С предельной четкостью вспоминается все когда-нибудь прочитанное. Читаешь про себя наизусть целые страницы текстов, казалось, давно забытых. В этом явлении есть даже нечто загадочное. Во всяком случае, в тот день, после опознания выстуканного в стену приветя, я была поражена той отчетливостью, с какой перед моим мысленным взором вдруг предстала страница книги, читанной примерно в двадцатилетнем возрасте. Это была страница из книги Веры Фигнер «Запечатленный труд». На этой странице приводилась тюремная азбука.

Я взялась за виски и тоном сомнамбулы сказала Ляме, сама поражаясь своим словам:

– Весь алфавит делится на пять рядов. В каждом – пять букв. Каждая буква обозначается двумя стуками – отдельными и частыми. Первые обозначают ряд, вторые – место буквы в данном ряду.

Потрясенные открытием, перебивая друг друга, забыв на минуту об опасности подслушивания дежурным надзирателем, мы составили нашу первую передачу. Она была коротка.

– К-т-о в-ы? – спросили мы своего соседа.

Да! Все было правильно. Мы почувствовали через каменную глыбу восторг нашего адресата. Наконец-то поняли! Увенчалось успехом его беспримерное терпение.

– Там-там-там-там-там! – Этим радостным мотивчиком он отстукал, что понял нас. С тех пор именно этот стук стал условным знаком взаимопонимания.

И вот он стучит нам ответ. Теперь уже не дурочкам, которым надо тысячу раз повторять «привет», а понимающим людям, которым он сообщает свое имя.

– С-а-г-и-д-у-л-л-и-н!

– Что? Сагидуллин?

Ляме это имя ничего не говорит, но мне... Стучу гораздо смелее:

– Тот самый?

Да, он подтверждает, что он «тот самый» Гарей Сагидуллин, имя которого уже много лет упоминается в Казани только с суффиксом «щина». «Сагидуллинщина». Это был один из разделов программы в сети партийного просвещения. Буржуазный национализм. Султангалевщина и сагидуллинщина. Но ведь он был арестован в 1933 году. Как же попал сюда сейчас?

За стеной почувствовали мое смятение. Поняли его причину. И вот я принимаю передачу:

– Был и ос-тал-ся ле-нин-цем. Кля-нусь седь-мой тюрь-мой...

А дальше уже что-то совсем непонятное:

– Верьте мне, Женя!

Откуда он знает, что я Женя, откуда через стенку при такой изоляции узнал, кто сидит рядом? Мы переглядываемся испуганно. Слов не надо. И так ясно. Призрак провокации встает перед нами.

И он опять почувствовал, что означает наше замешательство. Терпеливо все объяснил. Оказывается, и у него в оконном щите есть щелка. Давно видел нас на прогулке. Узнал меня, так как знал в лицо, хоть и не были знакомы. Видел меня в Москве, в Институте красной профессуры. Сидит один. Привезли на переследствие. Предъявляют дополнительные обвинения. Пахнет вышкой.

С этого момента наши тюремные дни насытились интересным содержанием, хотя внешне ничто не изменилось. Уже с утра я мечтала о послеобеденном часе смены дежурных, когда они, сдавая один другому свое людское поголовье, несколько отвлекались от подглядывания в глазки и подслушивания. Тогда наступал самый удобный час для стенного телеграфа.

Новый мир раскрывался передо мной в лаконичных стуках Гарея. Мир лагерей, ссылок и тюрем, мир трагических развязок, мир, приводивший попавших в него людей то к полному душевному краху, измелчанию, опустошенности, то к рождению настоящего мужества.

Я узнала от Гарея, что все, кто был арестован в 33-м и 35-м, привезены сейчас на так называемое «переследствие». Никаких новых обстоятельств, требующих пересмотра их дел, нет и не было. Просто надо было, как цинично выражались следователи, «перевести все эти дела на язык 37-го года», то есть заменить полученные этими людьми пятилетние и трехлетние сроки заключения более радикальными мерами истребления крамолы. Еще важнее была другая цель – вынудить этих «опытных» оппозиционеров (у некоторых из них вся оппозиция заключалась в какой-нибудь еще не апробированной мысли по вопросам теории, как, скажем, у Василия Слепкова в «Проблемах методологии естествознания») давать свои подписи под сфабрикованными следователями чудовищными списками так называемых «завербованных». Подписи вымогались угрозами, руганью, лживыми обещаниями, карцерами. (К избиениям начали обращаться только начиная с июня-июля, после процесса Тухачевского и других.)

Гарей страстно ненавидел Сталина и на мой вопрос о причинах всего происходящего кратко и твердо простучал:

– Коба. Восемнадцатое брюмера. Физическое истребление лучших людей партии, мешающих или могущих помешать окончательному установлению его тирании.

Впервые в жизни передо мной встала задача самостоятельного анализа обстановки и выбора линии поведения.

– Вы ведь не в гестапо попали, – звенели у меня в ушах слова майора Ельшина.

Да, несколько проще и легче было бы все, если бы это было гестапо! Я очень твердо знала, как должен вести себя коммунист, попавший туда. А здесь? Ведь надо самой определить, кто они, эти люди, держащие меня здесь. Переодетые фашисты? Или жертвы какого-то неслыханного обмана, какой-то изошренной провокации? И как должен коммунист вести себя в «своей» тюрьме, выражаясь словами того же майора?

Все эти мучительные вопросы я выстукивала Гарее, который был на десяток лет старше меня годами и на пятнадцать – по партийному стажу.

Но то, что он советовал, не подходило мне и вызывало удивление: как может он предлагать такое? До сих пор не понимаю, что толкнуло его, Слепкова и многих других из «ранее репрессированных» вести себя так, как он советовал мне.

– Говори прямо о несогласии с линией Сталина, называй как можно больше фамилий таких несогласных. Всю партию не арестуют. А если будет тысячи таких протоколов, то возникнет мысль о созыве чрезвычайного партийного съезда, возникнет надежда на «его» свержение. Поверь, внутри ЦК его ненавидят не меньше, чем в наших камерах. Может быть, такая линия будет гибельная для нас лично, но это единственный путь к спасению партии.

Нет, так поступать я не могла. Хоть я и чувствовала смутно, еще не зная этого точно, что вдохновителем всего происходящего в нашей партии кошмара является именно Сталин, но заявить о несогласии с линией я не могла. Это было бы ложью. Ведь я так горячо и искренно поддерживала и индустриализацию страны, и коллективизацию сельского хозяйства. А это и была ведь основа линии.

Тем более нечестно было бы называть чьи-то имена, зная, что одного упоминания имени какого-либо коммуниста в этих стенах вполне достаточно для его гибели, для сиротства его детей.

Нет. Уж если догматические навыки, привитые мне всем воспитанием, пустили в моем сознании такие глубокие корни, что я не могу сейчас дать самостоятельного анализа положения в стране и партии, то буду руководствоваться просто голосом совести. А значит – говорить только правду о себе, не подписывать никаких провокационных выдумок ни о себе, ни о других, не называть ничьих имен. Не верить никаким софизмам, оправдывающим ложь и братоубийство. Они не могут быть нужны той партии, в которую я так верила, которой решила отдать всю свою жизнь.

Все это я – конечно, гораздо короче – перестучала Гарее.

В течение двух-трех дней я настолько освоила технику перестукивания, а через неделю так здорово владела ею, что мы с Гареем часто перестукивали друг другу стихи. Мы понимали друг друга с полуслова, давая об этом знать специальным сигналом, что тоже ускоряло наше общение, сокращая слова. Удар кулака означал опасность со стороны надзора, и справедливость требует отметить, что Гарей давал этот сигнал куда чаще, чем я. Я, наверно, попалась бы, если бы не он. Он не терял бдительности даже при самом интересном разговоре.

Я никогда не увидела этого человека. Его расстреляли. Я не имела возможности уточнить его политические взгляды. Со многим из того, что он говорил, я была не согласна. Но знаю одно: с покоряющим мужеством переносил он седьмую по счету тюрьму, одиночку, перспективу расстрела. Сильный, настоящий был человек.

Глава шестнадцатая «Простишь ли ты меня?»

Пошел второй месяц в тюрьме. После первых активных допросов меня продолжали выдерживать без вызовов наверх. Только однажды меня вызвали к следователю Крохичеву, который передал мне записку от мамы, состоящую из двух слов: «Дети здоровы». Потом он сообщил, что мне разрешена передача, и, наконец, пристально глядя на меня красными, как у всех следователей, глазами, нечленораздельно буркнул, что был Пленум ЦК, февральско-мартовский Пленум, что, возможно, дела мои еще не так-то плохи, только надо вести себя разумно.

Однако долго питать радостные иллюзии мне не пришлось, так как Гарей на другой же день простучал, что наши местные хозяева сначала было не поняли смысла решений Пленума, наивно прочтя их буквально. Но теперь уже получены дополнительные инструкции. Понимать все надо наоборот, идут новые аресты, а на допросах стали шире применяться зверские методы.

Однажды после обеда, в неположенный час, вдруг загромыхал замок и засов на нашей двери. Вошли два надзирателя.

– Третья! – взволнованно шепнула Ляма.

– Горячий сезон. Путевок не хватает, – мрачно сострила я.

Через десять минут дверь снова прогрохотала, и в камеру вошла молодая женщина с красными пятнами на щеках, с расширенными от ужаса глазами. Лицо показалось мне знакомым. Оказалось – это Ира Егерова, аспирантка биофака университета, гидробиолог. Я встретила ее в коридорах университета, знала, что это единственная избалованная дочка из профессорской семьи. Что она могла иметь общего с политическими «преступниками»? Какие извилистые пути привели ее сюда?

Четыре года тому назад она посещала семинар Слепкова и даже немного пококетничала с красивым талантливым профессором. Сейчас она была арестована по обвинению в участии в группе правых. Была она очень беспартийной и понятия не имела, чем отличаются правые от левых и вообще с чем все это едят.

Не успела Ира кратко ознакомить нас со своей трагикомической историей, как раздался короткий стук в стену.

– Я не один, – простучал Гарей.

Его новым соседом стал Бари Абдуллин, второй секретарь обкома партии.

Незадолго до моего исключения из партии у меня была с ним неприятная встреча. Я приходила в обком жаловаться, что у меня не принимают членских взносов. Секретарь парт-организации боялся принять их у меченого человека. Как я ни уговаривала его, доказывая, что раз я еще не исключена, то платить взносы обязана, – это не помогало.

Абдуллин принял меня в обкоме. Я спросила его, что мне делать: оставаться в партии на таком положении, когда у тебя не хотят принимать взносы? Или положить билет на стол, дав этим новую пищу для обвинений?

Не поднимая глаз от бумаг, он ответил тоном, категорически пресекавшим возможность дальнейших разговоров:

– Партия имеет основание не доверять вам, особенно после того, как вы отказались признать свои ошибки.

А до этого мы с ним были друзьями, несколько лет жили рядом на даче.

И вот он рядом со мной, в подвале Черного озера, в одной камере с тем самым Сагидуллиным, имя которого он произносил раньше только тоном самого ортодоксального негодования.

Секретарь обкома. Человек, которым гордился татарский рабочий класс. Неужели Гарей прав, утверждая, что Сталин решил физически уничтожить весь цвет партии?

К вечеру из тревожного стука Гарей мы узнали, что Абдуллину предъявлено обвинение в пантюркизме, в связях с Турцией, в шпионаже, а также, вероятно, в том, что у алжирского бея под самым носом шишка.

– Следствие полагает, что Абдуллин хотел включить бывшую Казанскую губернию в состав Оттоманской империи, – ехидно комментировал Гарей.

Однако через несколько дней стало не до смеха. Тон передач резко изменился.

– Абдуллина держали на конвейере двое суток непрерывно. А когда он все-таки отказался подписать предъявленный ему бред, увели обратно не в камеру, а в стоячий карцер.

Содержание в этом карцере принадлежало к числу тех «особых методов», которыми мне постоянно грозил Царевский. Помещался этот карцер в «подвале подвала», то есть в самом подполье, куда не проникал ни один луч света. Я прежде думала, что стоячим карцер называется потому, что в нем нет табуреток. Наивность! Стоячий карцер имеет такую площадь, на которой человек может ТОЛЬКО стоять, и то опустив руки вдоль туловища. Сесть там попросту НЕТ МЕСТА.

– То есть человек замурован в стене?

– Вот именно!

Подавленные, мы сидели почти двое суток в полном молчании. Даже Ира перестала спрашивать меня, что такое правый уклон, в котором ее обвиняют. И Гарей не стучал. Настроение не изменилось даже тогда, когда мне принесли обещанную Крохичевым передачу. Я только тупо рассматривала присланный мамой махровый купальный халатик, напоминающий о пляже, о море, о доброжелательных улыбающихся людях. На фоне этих воспоминаний еще рельефнее вырисовывалась фигура замурованного в стене человека. И не просто человека, а Бари Абдуллина, который еще недавно делал на партактиве доклад о международном положении; который бегал по дачным аллеям, везя на плечах свою дочурку, а по воскресеньям играл в волейбол в одной команде со мной.

Наконец раздался стук Гарей.

– Приволокли без чувств. Разрешили опустить койку. Ввели камфару. Сейчас лучше. Просит папирос. Нет ли у тебя?

Да, они были. Две пачки. Не знаю, почему маме пришло в голову положить их в передачу. Я никогда не курила. Может быть, она думала, что в такой обстановке надо курить? Или приняла в расчет моих возможных товарищей? Так или иначе, они были. Но как передать?

Гарей простучал точную инструкцию. Если завтра нас поведут на opravку раньше, чем их, то мы должны захватить с собой папиросы, неся их под полотенцем. Та, что понесет, должна идти первой. Остальные две, идущие гуськом, должны растянуться по возможности дальше. Когдаходишь в коридорчик, ведущий в уборную и душевую, надо наклониться и быстро положить папиросы в маленькое отверстие под дверь душевой. Это налево. Та, что пойдет третьей, должна в самых дверях споткнуться о порог и задержать таким образом конвой.

Мы стали напряженно готовиться к ответственной и тонкой операции. Прежде всего возникла дискуссия внутри нашей камеры. Осторожная Ира возражала против передачи целой пачки. Ее могут заметить, она будет высовываться из отверстия. Тогда нас всех сгноят в карцере. Ляма, наоборот, выдвинула программу-максимум. Что значит несколько папирос для человека в таком состоянии? Обе пачки! И еще мыло в придачу! Да, пусть Женя отдаст ему туалетное мыло, присланное мамой. Пусть он, бедный, хоть умоется дочиста после такого ужаса. А то им ведь, наверно, еще меньше, чем нам, обмылочки дают.

Я заняла среднюю позицию. Или обе пачки папирос без мыла, или одну пачку и мыло. Иначе обязательно попадемся. После долгих споров решили: одну пачку папирос и мыло.

– Тогда давайте еще кусок сливочного масла. У нас ведь его в передаче целых 300 граммов. Знаете, как ему сейчас важно питание. Фосфор. Для мозга. Чтобы не потерять выдержку!

Милая Ляма! Она не сдавала марксистского минимума, как Ира, недавно защитившая кандидатскую. Она была простой машинисткой и массу свободного камерного времени отводила рассказам о своих пропавших заграничных туалетах. Но когда в дальнейшем мне приходилось сталкиваться с подонками человечества, я старалась себя утешить мыслями о Ляме, о ее настоящем бесстрашии, великодушии, размахе.

Упаковка нашей посылки тоже была делом хитрым. Ведь выражение «пачка папирос» – это была чистейшая условность, так как сама пачка была разорвана и выкинута надзирателями. Папиросы передавались только в рассыпанном виде, после тщательной проверки каждой штучки – не спрятана ли в ней записка? Мыло тоже передавалось без обертки и было проткнуто во многих местах перочинным ножом. Масло – в банке. Даже самый ничтожнейший клочок бумаги был здесь тяжелым криминалом.

Чем же связать папиросы? Пробовали волосами. Мы с Лямой надергали друг у друга порядочный пучок. Но волосы скользили и расплетались.

– Ах мы глупые! – хлопнула себя по лбу Ляма. – У нас ведь ниток сколько угодно...

Мой махровый халат... Из него были надерганы отличные прочные нитки. Папиросы туго и надежно перевязаны. К неистово благоухающему земляничному мылу привязали два тонких ломтика хлеба, густо намазанных маслом.

Сама операция была проведена блестяще. Наиболее ответственную и трудную задачу – идти первой и положить передачу в отверстие под дверь душевой – взяла на себя Ляма. Я должна была идти третьей, возможно более растягивая шествие, и главное – натурально споткнуться у порога уборной, задержав этим надзирателя. Ире предлагалось идти между нами, и ей мы отводили, так сказать, негативную задачу: не делать страшных глаз и идти как обычно.

Все разыгралось как по нотам. Ляма змейкой проскользнула в дверь коридорчика, когда Ира, я и замыкающий шествие надзиратель были еще довольно далеко. Она отлично успела уложить вещи в отверстие и даже проверить – не заметно ли? Я так здорово инсценировала боль в коленке, споткнувшись о порог, что конвоир даже буркнул: «Смотреть надо...»

Семь-восемь минут, которые прошли между нашим возвращением из уборной и приходом наших соседей, тянулись очень долго. Но вот снова грохот замка. Скорей бы уж заперли! Готово. Дежурный надзиратель удаляется в конец коридора.

– Там-там-там-там-там! – радостно выстукивает Гарей. А потом уже медленно и членораздельно: – Ум-ны-е! Сме-лы-е! Доб-ры-е!

У всех нас такое чувство, какое, наверно, испытывают солдаты после боя. Усталость и изумление перед собственным героизмом. Быстрее всех отвлекается от героических мыслей Ляма. Она уже спрашивает, красивая ли жена у Абдуллина и хорошо ли она одевается.

К вечеру стена вдруг заговорила необычным голосом. Кто-то стучал медленно и осторожно, очень неопытной рукой.

– Же-ня! Же-ня! – зовет стена.

Это Абдуллин. Его осторожные стуки складываются наконец во фразу, понятную только мне:

– Простишь ли ты меня?

– За что это он прощения просит? Может, у вас с ним роман был, Женечка?

А Абдуллин, видимо до основания потрясенный всем происходящим, никак не успокаивается. Стучит и стучит.

– Как ты могла пойти на такой риск? В ответ на мое бездушие? Что было бы, если бы вы попались?

– А попадаться не надо. Надо овладевать тюремной техникой. А техника, как известно, в период реконструкции решает все.

Глава семнадцатая На конвейере

За меня снова взялись. Меня поставили «на конвейер». Непрерывный допрос. Они меняются, а я остаюсь все та же. Семь суток без сна и еды, даже без возвращения в камеру. Хорошо выбритые, отоспавшиеся, они проходили передо мной как во сне. Ливанов, Царевский, Крохичев, Веверс, Ельшин и его «ассистент» лейтенант Бикчентаев – коротенький розовощекий парнишка с мелкими кудряшками, похожий на закормленного орехами индюшонка.

Цель конвейера – истощить нервы, обессилить физически, сломить сопротивление, заставить подписать то, что им требуется.

В первые дни я еще отмечала про себя индивидуальные особенности каждого из сменяющихся следователей. Ливанов по-прежнему спокоен, официален. Он настаивает на том, чтобы я подписала самую чудовищную чушь, с таким видом, точно это самая естественная и притом незначительная часть некой канцелярской процедуры. Царевский и Веверс всегда орут, угрожают. Веверс при этом нюхает белый порошок – кокаин. Нанюхавшись, он не только угрожает, но и хохочет надо мной.

– Ха-ха-ха! Что стало из бывшей университетской красотки! Да вам сейчас сорок лет можно дать! Не узнал бы Аксенов свою кралю. А еще немного поупрямитесь, так и совсем в бабуся превратим. Вы еще в резиновом карцере не бывали? Ах, нет! Ну, значит, еще все впереди...

Майор Ельшин остается неизменно галантным и «гуманным». Он любит говорить о моих детях. Он слышал, что я хорошая мать. А оказывается, я своих детей совсем не жалею. Осведомившись, почему это я стала такая «бледненькая», услышав в ответ, что меня допрашивают без сна и еды уже четверо или пятеро суток, он «изумляется».

– Неужели стоит так себя мучить, чтобы не подписать вот этого чисто формального пустякового протокола? Подписывайте быстро и ложитесь спать. Прямо здесь, на диване. Я скажу, чтобы вас не тревожили.

В пустяковых протоколах говорилось, что я по поручению Эльвова организовала при Союзе писателей Татарии филиал редакционной террористической группы, завербовав туда следующих людей. Дальше шел список татарских писателей, начиная с тогдашнего председателя союза Кави Наджми.

– Жалеее Наджми? А он вас не жалел... – загадочно бросает майор.

– Это дело его совести.

– Да что вы – евангельская христианка, что ли?

– Просто честный человек.

Майор снова не упускает случая блеснуть эрудицией и произносит краткую речь на тему марксистско-ленинского учения о морали. Честно то, что полезно для пролетариата и его государства.

– Для пролетарского государства не может быть полезно истребление первого поколения татарской советской творческой интеллигенции, к тому же партийной.

– Мы имеем точные данные, что эти люди – враги народа.

– Тогда зачем же вам в дополнение к этим точным данным еще и мои показания?

– Для документального оформления.

– Я не могу оформлять то, что мне неизвестно.

– Вы не верите нам?

– Как же я могу вам верить, когда вы меня ни за что ни про что держите в тюрьме, да еще применяете незаконные методы следствия?

– Что же мы делаем незаконного?

– Уже много дней не даете мне спать, пить и есть, чтобы вынудить у меня лживые показания.

– Пожалуйста, пообедайте. Сейчас принесут. Подпишите только. Сами себя мучаете...

Лейтенант Бикчентаев, который теперь всегда приходит вместе с майором, видимо, проходит практику, стоит «на подхвате», повторяя концы фраз, как годовалый младенец, начинающий говорить.

– Сами виноваты, – говорит майор.

– ... виноваты, – как эхо откликается лейтенант.

– Только задерживаете следствие... – Это майор.

– ... следствие! – подтверждает лейтенант. Однажды майор Ельшин составил протокол о моих отношениях с татарской интеллигенцией.

– Для чего вам, человеку, знающему французский и немецкий, потребовалось приняться за изучение татарского языка?

– Для литературно-переводческой работы.

– Но ведь это язык некультурный...

– Некультурный? А вы тоже такого же мнения, лейтенант?

Индюшонок молчит, смущенно улыбается. После этой прелюдии мне предлагают подписать протокол, в котором сказано, что по заданию троцкистского центра я пыталась наладить беспринципный блок с буржуазно-националистическими элементами татарской интеллигенции. Я еще острою:

– Да, всю жизнь мечтала объединить мусульманский мир для торжества ислама.

Майор похохатывает, но есть и пить мне все-таки не дает и спать не отпускает.

Тогда мне казалось, что страдания мои безмерны. Но через несколько месяцев я узнала, что мой конвейер был детской игрушкой сравнительно с тем, что практиковалось позднее, начиная с июня 1937 года. Мне не давали спать и есть, но я сидела, а не стояла на ногах сутками. Мне давали иногда воду из следовательского графина. Меня не били.

Правда, однажды Веверс чуть не убил меня, но это произошло под влиянием кокаиновых паров, в состоянии невменяемом, и страшно испугало самого Веверса.

Произошло это, кажется, в пятую или шестую конвейерную ночь. Я была уже в полубредовом состоянии. Чтобы оказать «давление на психику», практиковалось усаживание арестованного очень далеко от следователя, иногда через всю комнату. В данном случае Веверс усадил меня у противоположной стены и стал орать свои вопросы через весь большой кабинет. Речь шла о том, с какого года я знаю профессора Корбута, примыкавшего в 1927 году к троцкистской оппозиции.

– Не помню, с какого года точно, но давно, еще до голосования его за линию оппозиции.

– Что-о-о? – Распаленный кокаином и моим упорством, Веверс окончательно сатанеет. – Оппозиция? Вы именуete эту банду убийц и шпионов оппозицией! Ах вы...

Большое каменное пресс-папье с веверсовского стола со всего размаха летит в меня. Только увидев дыру в стене на расстоянии сантиметра от моего виска, я осознала, какая опасность мне грозила.

Веверс испугался до того, что даже подал мне сам стакан с водой. Руки его тряслись. Убивать следственных до смерти им еще не разрешалось. Он немного увлекся.

На седьмые сутки конвейера меня отвели этажом ниже к полковнику, фамилии которого не могу вспомнить. Здесь впервые мне было предложено стоять во время допроса. Я засыпала даже стоя. Тогда по обеим сторонам около меня было поставлено по конвоиру, которые все время расталкивали меня, приговаривая: «Спать нельзя!»

В сознании вдруг всплыла аналогичная сцена из фильма «Дворец и крепость». Точно так допрашивали Каракозова. Так же мучили бессонницей. Потом все помутилось у меня в голове. Как сквозь густую пелену я видела брезгливую мину полковника, заметила револьвер,

лежавший на столе, очевидно для устрашения. Очень раздражали меня, помню, кружки на обоях. Такие же, как в кабинете Веверса. Они непрерывно плясали перед глазами.

Совсем не помню, что я отвечала этому полковнику. Кажется, я больше молчала, только изредка повторяя: «Не подпишу!» Он то грозил, то уговаривал, обещал свидание с мужем, с детьми. Потом все смешалось. Я упала.

Глубокий обморок длился, по-видимому, так долго, что они вынуждены были остановить свою машину. Я очнулась в камере, на своей койке. Открыв глаза, я увидела склоненное надо мной, залитое слезами милое лицо Лямы. Она вливала мне в рот по каплям апельсиновый сок, только что присланный в передаче Ире.

Скоро послышались тревожные вопросы в стенку. Гарей и Абдуллин беспокоились.

– Пришла в себя? Отлично. Поцелуйте за нас.

Принесли ужин. Я съела две порции омерзительной похлебки, именуемой у нас в камере «суп-рататуй». На закуску Ира торжественно выложила два квадратика шоколада из своей передачи.

Я только успела подумать о том, как добры люди, как меня снова вызвали к следователю. Конвейер продолжался.

Глава восемнадцатая

Очные ставки

Второй тур конвейера продолжался только пять суток и проводился с ослабленным режимом. Часа на три ежедневно меня стали отпускать в камеру. Правда, это делалось всегда не раньше шести утра, так что, возвращаясь в камеру, я заставляла койки уже подвешенными к стене и полежать мне не удавалось. Но даже посидеть спокойно на табуретке, положив голову на Лямино плечо, съесть несколько кусков сахара (а в эти дни мне уступался весь камерный сахар, в количестве шести пиленых кусочков) – все это немного восстанавливало силы. Правда, дежурные надзиратели бдительно следили, чтобы я не закрывала глаз. «Спать днем нельзя», – разъяснялось мне.

В эти дни мы узнали от Гарея о смерти Орджоникидзе. Я так и не знаю, откуда он получал информацию, сидя в одиночке, но уже в 1956 году, после XX съезда партии, после реабилитации и восстановления в партии, я услышала на партсобрании в зачитывавшемся докладе Хрущева ту же историю смерти Орджоникидзе, которую узнала в 37-м в стенной телеграмме Гарея.

...Второй конвейер тоже не достиг цели. Я не подписала ни ельшинского варианта о «беспринципном блоке с татарской националистической интеллигенцией», ни веверсовской стряпни о террористических актах, замышлявшихся якобы против секретаря обкома.

Не хочу становиться на геройские или мученические котурны. Я далека от мысли объяснить свой отказ от подписывания лживых провокационных протоколов каким-либо особым мужеством. Я не осуждаю тех товарищей, которые под воздействием невыносимых мук подписали все, что от них требовали.

Мне просто повезло: мое следствие закончилось еще до начала широкого применения «особых методов». Правда, в смысле приговора мое упорство не принесло мне никаких выгод. Я получила те же 10 лет, что и те, кто поддался на провокацию и подписал так называемые «списки завербованных». Но у меня осталось великое преимущество – чистая совесть, сознание, что по моей вине или по моему малодушию ни один человек не попал в «сеть Люцифера».

Итак, отказавшись от намерения получить мои «чистосердечные признания», руководители моего следствия поручили как-нибудь закончить все дело лейтенанту Бикчентаеву. Теперь меня вызывали на допрос только днем. После двух-трех сеансов переливания» из пустого в порожнее Бикчентаев с важным видом заявил мне, что так как я ни в чем не сознаюсь, то с завтрашнего дня они начнут «уличать» меня при помощи очных ставок. Это сообщение заинтересовало и взволновало, хотя вообще-то ко всем заявлениям «индюшонка» можно было относиться только смешливо. С такой опереточной важностью восседал он за столом с тремя телефонными аппаратами, так лоснилась и сияла его толстенькая мордочка, из которой глупость сочилась, как жир из баранины.

Но очные ставки? Неужели Эльвов и вправду здесь? Это не исключено. Возможно такое же «переследствие», как у Гарея. Неужели он будет давать мне очные ставки? Что же он может утверждать? Можно еще понять, что подписывают ложь в отношении самих себя, но как можно говорить ее прямо в глаза предаваемому товарищу!

Однако человек, которого я застала на другой день в кабинете Бикчентаева, был не Эльвов. Это был литсотрудник отдела культуры редакции, которым я заведовала.

Володя Дьяконов? Что ему делать тут? Или он тоже арестован? Независимо от всех этих недоумений я рада видеть Володю. Старые знакомые. Наши отцы до сих пор на «ты», они учились вместе в гимназические времена. Я способствовала приему Володи на работу в редакцию. Очень охотно, почти любовно учила журналистской работе этого парня, который был моложе меня лет на пять. Много раз он говорил, что любит меня, как сестру. Приятно видеть такое

близкое лицо. И, прежде чем Бикчентаев успевает отпустить приведшего меня конвоира, я протягиваю Володе обе руки:

– Володя! Как мои дети? Отвечайте скорее...

Бикчентаев поднимается со стула. Он вот-вот лопнет от охватившего его возмущения. Такое неслыханное нарушение режима! Обвиняемый, бросающийся в объятия уличающему его свидетелю! Ибо, как это ни странно, Володя приглашен сюда в качестве свидетеля моих «преступлений». Он пришел давать мне «очную ставку».

– Порядок очной ставки такой, – разъяряет Бикчентаев, немилосердно коверкая русские слова, – я задаю «вопрос». На него сначала отвечает «свидетил» Дьяконов, потом обвиняемая...

Мою фамилию он произносит с ударением на последнем слоге и неимоверно гортанным «Г».

– Как, Володя, это вы даете мне очную ставку? В чем же вы можете уличить меня? Или вы тоже арестованы и не выдержали нажима, подписали разную ерунду на себя и на меня?

Бикчентаев стучит по столу кулаком. Но это не страшно, а смешно. Кулачишко у него пухленький, с ямочками.

– Обвиняемая! (У него получается «авиняема».) Прекратите оказывать давление на свидетеля. А вы, Дьяконов, ведите себя как положено, а то прикажу вас тоже арестовать и отправить в тюрьму.

Ага! Значит, Володя не арестован? Что же означает этот фарс? Но Володино лицо вытесняет мысль о фарсе. Он изжелта-бледен, веки дергаются, синие губы трясутся. Вместо ответа на мой вопрос о детях он лепечет:

– Я-я-я... Я болен, Женя. Я только что перенес энцефалит.

– Свидетель Дьяконов, – торжественно возглашает Бикчентаев, – вчера на допросе вы заявили, что в редакции газеты «Красная Татария» существовала подпольная контрреволюционная террористическая группа и обвиняемая входила в нее. Подтверждаете ли вы это сейчас, в присутствии обвиняемой?

Страшно смотреть, что делается с Володей. Нервный тик так искажает его правильные черты, что они кажутся уродливыми. Он почти нечленораздельно мычит:

– Это... это... Я, собственно, говорил, что те люди, которых вы спрашивали, занимали в редакции руководящие должности. А больше я ничего не знаю.

Бикчентаев грозно хмурит то место, где у других людей брови, и поворачивается ко мне.

– А вы подтверждаете это?

– Что тут подтверждать? Он просто перечислил всех заведующих отделами редакции...

О подпольщине и терроре говорите вы, а не свидетель. Он об этом и не заикается.

Бикчентаев зловеще улыбается и пишет протокол. Он записывает сначала свой вопрос, потом ответ Дьяконова в такой редакции: «Да, я подтверждаю, что в редакции „Красной Татарии“ существовала подпольная контрреволюционная группа».

Потом подсовывает листок Володе.

– На очной ставке каждый вопрос и ответ подписываются отдельно. Подписывайте!

Володя еле удерживает ручку в дрожащей руке и медлит.

– Володя, – мягко говорю я, – ведь это фальшивка. Вы ничего подобного не говорили. Подписав это, вы убиваете столько людей, ваших товарищей, которые так хорошо к вам относились.

Бараньи глазки Бикчентаева лезут на лоб.

– Как вы смеете оказывать давление на свидетеля! Я вас сейчас в нижний карцер отправлю! А вы, Дьяконов, ведь подписали все это вчера, когда были здесь один. А теперь отказываетесь! Я вас сейчас же прикажу арестовать за ложные показания.

И он притворно тянется к звонку, которым вызывают конвоиров. И Володя, как кролик под взглядом удава, выводит подпись, напоминающую письмо паралитика и ничуть не похожую на тот бойкий росчерк, которым он подписывал свои статьи на темы новой морали. Потом еле слышно шепчет:

– Простите меня, Женя. У меня только что родилась дочь. Я не могу гибнуть.

– А о моих трех детях вы и не подумали, Володя? И о детях тех, кого вы тут вписали?

Бикчентаев опять страшно орет и стучит, но я его совсем не боюсь. Карикатурных толстяков нельзя ставить на такие палаческие роли. Получается «снижение плана». Я добавляю:

– Главное, Володя, вы не подумали о себе. Ведь если вы действительно знали, что существует такая группа, и не сообщали о ней куда следует, пока вас не вызвали, то есть с 34-го до 37-го года, то вы, выходит, ей содействовали. А это ведь уже уголовное дело!

Володя бледнеет и синеет еще больше. Теперь по его щекам катятся откровенные слезы. А окончательно взбешенный Бикчентаев на этот раз действительно звонит и приказывает пришедшему конвоиру увести меня в карцер.

Но увести меня не успевают, так как в комнату входит Царевский, шепотом что-то сообщает Бикчентаеву. Меня выводят из кабинета в коридор, а когда через пять минут меня приводят обратно, я вижу, что Володи уже нет, а на его месте...

Нет, это был действительно день сюрпризов! На его месте моя многолетняя подруга Наля Козлова. Ей я тоже в свое время помогла устроиться в редакции и тоже в моем отделе. В студенческие годы мы были всегда вместе. Шутливое прозвище вечно что-то сочинявшей и писавшей Нальки было – Наташа Козлете. Сколько зачетов и экзаменов подготовлено вместе, сколько стихов вместе прочитано, сколько доверено друг другу «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»! И вот она тоже, вслед за Володей Дьяконовым, пришла сюда, чтобы помочь моим палачам.

У меня перехватило горло. Неужели все демоны сговорились сделать мое тридцатилетнее сердце сразу столетним? Чтобы я только и могла повторять вслед за Герценом: «Все погибло: свобода мира и личное счастье...» А может быть, Наля решила спасти меня и делает какой-то хитрый ход, пока еще непонятный мне? И я с надеждой ловлю ее взгляд. Но она отводит глаза в сторону.

Сейчас лейтенант Бикчентаев вполне доволен. Ему не приходится так нервничать, как со слабовольным, слезливым Дьяконовым. Свидетельница, привыкшая к газетной работе, дает такие четкие формулировки, что Бикчентаеву остается только бодро и торопливо скрипеть пером.

Вот она уже подтверждает своей подписью, что в редакции существовала подпольная террористическая группа и что я активно участвовала в ней. Она даже конкретизирует свои показания. Оказывается, если Кузнецов (секретарь редакции) играл главным образом организаторскую роль, то я в этой фантастической группе выполняла обязанности агитпропа.

Коварно улыбаясь, Бикчентаев задает вопрос, который должен меня доконать:

– Считаете ли вы контрреволюционные связи обвиняемой случайными? Или она имела такие же и в студенческие годы?

И моя подружка Налька – милая, смешная, богемистая Наташа Козлете – отчеканивает как по писаному:

– Нет, ее связи с троцкистским подпольем нельзя считать случайными. Еще в ранней юности она дружила с ныне репрессированными Михаилом Корбутом, Григорием Волошиным. Скорее всего, их связывало политическое единомыслие.

Вдруг на столе Бикчентаева отчаянно трещат все три телефона сразу. Наш Юлий Цезарь прикладывает по трубке к каждому уху и, упиваясь собственной ролью в историческом процессе, слушает сразу двух, предварительно крикнув третьему: «Подождите!»

Я пользуюсь моментом. Когда-то в студенческие годы мы обе с Налей Козловой были отличницами кафедры французского языка. И я вполголоса говорю ей по-французски:

– Благородную роль играешь! Как в кино или в романе Дюма-пера! Ты что, рехнулась?

Не поднимая глаз, она сухо отвечает по-французски же:

– Если ты будешь меня задевать, я скажу еще и про Гришу Бертникова.

Гриша был членом партии с февраля 1917 года. Последнее время работал в Свердловске. Сейчас, видимо, был арестован, поскольку Козлова пугала меня им. Наверно, связь с ним казалась Нальке особенно страшной потому, что Гриша работал в «Известиях», когда их редактировал Бухарин. Я была с ним знакома ровно столько же, сколько все остальные в нашей редакции. Но Козлова понимала, что даже простое упоминание еще одного «репрессированного» имени будет отягощать мое положение. Меня захлестнуло раздражение.

– Попробуй, – прошипела я, – тогда я сейчас же меняю свою тактику со следователями. Подпишу все глупости, которые они сочиняют, а тебя объявлю активным участником группы. Скажу – я сама завербовала ее...

В этот момент мой мудрый следователь, оторвавшись от телефонов, уловил звуки чужого языка.

– На каком языке вы оказываете давление на следователя?

– На французском.

Снова удар пухленького кулачка по столу, снова вопли о подземном карцере.

– Извините, лейтенант, – говорю я любезно, – я просто привела поговорку. Примерно: «Век живи – век учись»... Я никак не думала, что вы не понимаете по-французски.

Свидетельница Козлова взглядывает на меня с испугом. Как можно так издеваться над тем, в чьих руках твоя судьба?... Но я-то точно знаю, что ничем не рискую. Я так хорошо изучила умственные способности лейтенанта Бикчентаева, что уверена: он примет мои слова буквально.

Так и есть. Примиренным голосом заявляет:

– Никто не говорит, что кто-то чего-то не понимает. Но официальный язык следствия – русский (у него получается «афисьяльный»), и будьте добры придерживаться этого языка. Эту же поговорку («и тот же пагавурк!») вы могли сказать по-русски...

Хорошее настроение уже не оставляет лейтенанта до конца, и, закончив протоколы, он дает их еще раз подписать свидетельнице Козловой. Я вижу, как слегка разбрызгиваются чернила под такой знакомой с юных лет подписью. Бикчентаев аккуратно промакивает ее тяжелым прессом, потом элегантно вручает Нальке пропуск.

– Вы свободны, товарищ Козлова.

В дверях Налька вдруг мнется, лицо ее покрывается красными пятнами. Потом она протягивает мне свернутую газету.

– Возьми. Сегодняшняя.

– Спасибо. Не надо. В тюрьме газет читать не разрешают. Книги тоже запрещены.

Снова трещит телефон, и Бикчентаев не успевает обрушиться на меня. Он берет трубки и одновременно нажимает звонок, вызывающий конвоира. А Налька все медлит с уходом.

Эта деталь (нельзя читать!), видимо, раскрыла ей что-то, чего она не додумывала.

– Значит, ты не знаешь никаких новостей? – быстро говорит она вдруг, пока Бикчентаев занят телефоном. – Орджоникидзе умер. И еще Ильф...

– Завидую им. Сами умерли. А мне ведь теперь, на основании твоих и Володиных ложных показаний, расстрел...

Глаза Нальки наливаются ужасом. Она пятится к выходу.

Да, только при «индюшонке» Бикчентаеве возможны такие вольности. Веверс или Царевский проморили бы в карцере неделю за одну попытку такого разговора. А этот только повизжал и уже без всякой элегантности предложил Козловой немедленно идти домой, «пока я не

аннулировал пропуска»... Даже в карцер забыл меня отправить. Уж очень удачна была «очная ставка»!

Я возвращаюсь в камеру потрясенная и ничего не отвечаю на вопросы Лямы. Не отвечаю и на стук Гаряя. Наступает ночь. Нет ничего страшнее тюремной бессонницы. А она пришла ко мне после конвейера.

Ровно дышат мои соседки, мерно поскрипывают в коридоре сапоги дежурного. Время от времени – грохот замков, шаги, шепот. Кого-то ведут на ночной допрос. Каждый звук отзывается в висках.

Налька! Как мы с ней плавали наперегонки на даче в Васильеве! А как зайцами на симфонические концерты пробирались! Да, нам было по восемнадцать и мы дружили.

Светает. Через решетку, через деревянный щит в камеру пробирается солнце. Малюсенький блик. Он выглядит на грязно-серой стене как крохотный золотой жучок, заползший в большую навозную кучу.

Ведь уже апрель. Весна. Весна 1937 года.

Глава девятнадцатая

Расставанья

Это утро началось как обычно. Проверка. Оправка. Кипяток. Хлеб. Даже, пожалуй, лучше, чем обычно, потому что Ляма показала сегодня «класс», утащив у старшего надзирателя иголку.

Иголки выдавались для пользования на пять минут не чаще раза в неделю. Выдавал их «старшой», который всегда имел при себе несколько штук, воткнутых в наружный карман гимнастерки. Старшой приходит каждое утро, проверяя свое поголовье и бдительно осматривая нехитрое имущество камеры. Он выдвигал ящик тумбочки, приподнимал за углы соломенные подушки, даже заглядывал в парашу.

Так и в этот день. И когда он заглядывал, наклонившись, в ящик тумбочки, Ляма и ухитрилась каким-то особенно пластичным и молниеносным жестом вытянуть у него одну из торчащих иголок. Мы надергали ниток из моего махрового халата и начали потихоньку штопать чулки, как вдруг в самое неурочное время загремел замок нашей камеры.

– С вещами!..

Меня! С вещами... Значит, совсем. Страшное волнение охватило всех нас.

– Это на волю. Домой, – выпалила Ира, наиболее склонная к иллюзиям. – К нашим зайдите. И пусть они в знак того, что вы были и что они все узнали обо мне, положат в передачу конфеты «Снежинка».

Побледневшая Ляма прикрикнула на Иру:

– Бросьте ерундить! Чего это – после очных ставок да вдруг домой! Не в карцер ли? Или в этап?

Все разъяснил стук Гарея, как всегда отлично информированного.

– Во дворе «черный ворон». Собирают этап из тех, у кого окончено следствие. Отвозят в тюрьму на улице Красина. Здесь нужны места для новых.

В этот день я впервые столкнулась с той разновидностью душевной муки, которую приносят тюремные расставания. Нет более горячей дружбы, чем та, что создается тюрьмой. И вот теперь разрываются эти кровные узы. Те же безжалостные руки, которые отобрали у меня детей, мужа, мать, отнимают теперь милую сестричку Ляму и верного друга Гарея. Уходим друг от друга навсегда, бесследно. Как в смерть. А может быть, и действительно в смерть. Ведь у каждого из нас, кроме, может быть, Лямы, большие шансы на «высшую меру».

– Косыночку на память, Женечка, родная!

Дрожащими руками Ляма сует мне китайский шелковый платочек. Я отдаю ей свое кашне. Бросаемся друг другу на шею с коротким рыданием.

Косыночку – соблазнительную, заграничную – у меня потом, уже в лагере, украли уголовницы. Ляму я больше никогда не встречала и о ее судьбе ничего не узнала. Только в памяти навсегда остались золотые волосы, добрые ловкие руки и глаза – «круглые да карие, горячие до гари».

Волнение Гарея (он снова один, Абдуллина терзают на самом усовершенствованном конвейере) передается даже через толстенную стену. На ней вспыхивают полные дружбы и преданности слова, немного патетические, как всегда у Гарея...

– Прощай, родная! Мужества и гордости! Верю в нерасторжимость кровных тюремных уз. Помню до смерти. Она, правда, недалеко. А впрочем, кто знает... Вдруг – оковы тяжкие падут, темницы рухнут...

В коридоре идет бурная организационная работа. Формируется этап в старую тюрьму. Хлопают двери, грохочут и скрипят засовы, шепчутся надзиратели. На фоне этого движения удобно отстучать Гарее последние прощальные слова.

...Наша дверь!.. За мной! Мое имущество – узелок с бельем – галантно выносит конвоир. Мне вдруг неожиданно возвращают часы. Они не заводились с того памятного дня. Они все еще показывают 2 часа дня 15 февраля 1937 года. Дата моей гибели. Ведь все, что шло потом, это были посмертные блуждания в аду. А может, в чистилище? Может, Гарей прав и еще падут тяжкие оковы?

Что было бы со всеми нами, если бы не обманчивый свет этой постоянной надежды?

Глава двадцатая

Новые встречи

Так вот это, значит, и есть «черный ворон»? Крытая, крашенная темно-синей краской машина для перевозки заключенных. Сколько раз я видела такие на улице, не останавливая на ней внимания. Думала – колбаса, молоко...

Внутри машина разделена на крошечные, абсолютно темные клетки – кабинки. В каждую заталкивается человек. Дышать нечем. Вещи свалили в коридорчике между двумя рядами клеток.

Вот и я замурована в такой собачий ящик. Но теперь я уже опытная заключенная, ученица Гаряя. И я сразу, не позволяя себе задумываться над ужасом положения, принимаюсь за налаживание связей. Пока сапоги конвойных еще топчут снаружи, стучу направо и налево. Кто? Кто? И слышу слева ответ:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.